

Илья Виноградов

Машенька

Циклотимический роман-
онлайн о любви

Илья Виноградов
Машенька. Циклотимический
роман-онлайн о любви

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=21160131
ISBN 9785448316425*

Аннотация

Роман о том, как... влюбляются и теряют любовь; как гаснет чувство, а «единственный и неповторимый» становится «одним из многих». В общем, роман не об этом. Но, наверное, семена «смерти» любви рассыпаны по тексту, и к концу их становится больше – представляется так. Чувство, которое герой считал настоящим, оказывается «виртуальным» – об этом говорит лирическая героиня. О том, что любовь нежеланна и от нее стараются избавиться. В том числе и испытывающий ее.

Содержание

Глава I	6
Глава II	9
Глава III	17
Глава IV	20
Глава V	24
Глава VI	29
Глава VII	34
Глава VIII	37
Глава IX	53
Глава X	58
Глава XI	69
Глава XII	73
Глава XIII	80
Глава XIV	86
Конец ознакомительного фрагмента.	91

Машенька

Циклотимический

роман-онлайн о любви

Илья Виноградов

© Илья Виноградов, 2016

ISBN 978-5-4483-1642-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Машенька

Циклотимический роман-онлайн о любви

«Он остановился в маленьком сквере около вокзала и сел на ту же скамейку, где еще так недавно вспоминал тиф, усадьбу, предчувствие Машеньки. Через час она придет, ее муж спит мертвым сном, и он, Ганин, собирается ее встретить.

Ганин глядел на легкое небо, на сквозную крышу – и уже чувствовал с беспощадной ясностью, что роман его с Машенькой кончился навсегда. Он длился всего четыре дня, – эти четыре дня были быть может счастливейшей порой его жизни. Но теперь он до конца исчерпал свое воспоминанье, до конца насытился им, и образ Машеньки остался вместе с умирающим старым поэтом там, в доме теней, который сам уже стал

воспоминаньем.

И кроме этого образа, другой Машеньки нет, и быть не может».

В. Набоков, «Машенька»

Циклотимия —

1) значительные колебания настроения от приподнятого до подавленного;

2) (cyclothymic disorder) – поведенческое расстройство, характеризующее хронической нестабильностью настроения с многочисленными периодами легкой депрессии и легкой приподнятости.

Лучше писать для себя и потерять читателя, чем писать для читателя и потерять себя.

С. Конноли

Глава I

Милая моя Машенька, чудесное солнышко, милая ненаглядная девочка, солнечный луч, улыбка, нитка жемчуга, нанизанного на солнечный луч, милое солнышко, чудесная... чудесный соболёк, милый мангуст, маленькая ветка можжевельника, стучащаяся в окно, лёгкий дождь, освежающий и весело льющийся за воротник; милое, славное, невыразимо притягательное создание, чайный лист, заваренный и душистый, смолистая ветка сосны, пение соловья на ветке, спускающаяся ночь, все шорохи ночи, все её дивные, цветные звуки, вся ночная свежесть, вся прохлада ночи, вся её таинственность, всё очарование и непроглядная темнота, в которой ты предвкушаешь найти обетованную нежность, все разговоры, долгие и задушевные, и молчание, которое выразительнее слов; и касание плеч, прикосновение пальцев, переплетение их, дрожь от прикосновений, дрожащие от наслаждения плечи, руки, проводящие по бархатным щекам; ступившиеся донельзя сумерки, проснувшаяся ночь, полная звуков, отдаленный волчий вой заставляет замереть сердце; но он далёк и больше не повторился; ковер сосновых иголок, по которому ступаешь в темноте босыми ногами; и вдруг впереди оказывается река, и ты у самой воды, ты окунаешь в поток натруженные ступни, и сразу прохлада разливается по всему телу; ты – сладостный сон, который наступает

вслед за усталостью, ты входишь в этот сон как фея с прозрачными крыльями, ты вьешься как бабочка и вдруг достигаешь обычных размеров, и это значит, что сон начался. Ты говоришь, что необходимо произнести заклинания. Мы, взявшись за руки, читаем по закопченной серебряной табличке странные невиданные руны; но мы откуда-то знаем, как их произносить. И мы произносим нараспев слова, а потом смеёмся над чем-то; в комнате проступают свечи, горящие по периметру магической фигуры на полу. Мы встанем и двинемся по комнате; становится светлее – входит рассвет. Вдруг неожиданно все исчезает, я остаюсь один, но вижу твой портрет в рамке на полке. Я опять вспоминаю, зачем ты... Ты вновь появляешься, в воздушном платье с воланами-рукавами, и колокол-юбка будто скользит по паркету, маленькая комната раздвигается до размеров зала времен Тюдоров, когда камин только еще был перенесен к стене; а посередине – огромный дубовый стол, на нем – канделябры, вокруг стола скамьи. Я хочу написать тебе – но я чувствую, что не должен этого делать, потому что мы еще не знаем друг друга. Но сердце так и просит у руки, чтобы она рассыпала эти звуки по бумажному ковру. Я не могу насмотреться на твой образ – сначала на фотографиях, потом в воображении, куда эти фотографии соскальзывают одна за другой; я запоминаю выражения лица – каждый раз оно иное, но над всеми оттенками настроения господствует твой улыбающийся, отрешённый и устремленный в нечто

невидимое взгляд; ты будто смотришь в одну из сфер, которые обволакивают землю, и видишь бесконечные анфилады взметающихся строений, причудливых и невообразимых уму. И видишь пространство, не скованное, не ограниченное ничем. В отблеске этого твоего взгляда, в тенях, отбрасываемых языками его пламени, хочется расположиться, как у камина, хочется поглощать почти материальную субстанцию этого взгляда, как амброзию, хочется всматриваться в глаза, изводящие его, и не бояться обжечься, хотя взгляд этот обладает и силой, способной сокрушить хищное зло, цепенеющий страх. В твой взгляд хочется облечься, как в шарф, перенять его, смотреть с такой же добротой, мягкостью и мудростью, странной в юном существе. И, кажется, я начал смотреть твоими глазами; я вижу землю, как в борхесовском Алефе, все события огромного мира с огромной высоты. Твой взгляд согревает, как вино, я напьюсь им и буду «глаголовать странными глаголы», как апостолы. Я стану носить твой взгляд, как горящий уголь, в пещере сердца, и, когда возникнет надобность, я буду делиться им с холодными, продрогшими существами улицы. Серые улицы станут цветными, посреди дождя зажгутся оранжевые гирлянды, когда я достану из сердца и зажгу одним движением огнива твой невозможный взгляд.

Глава II

Все утро словно засыпано ярко-оранжевыми шариками от пинг-понга, ты купаешься в них, ступаешь по ним, они разлетаются в стороны из-под твоих ног с пластиковым звуком, и ты представляешь, что идешь по дорожке, которая вся усеяна ими; но по бокам дорожки – уже обычные кусты розмарина, а там, впереди – вздымаются сосны, виден мостик над дорожкой, и сознание подсказывает, что это часть Царской тропы, где ты проходил бесчисленное число раз. Мне хочется писать только о тебе, я вспоминаю момент, когда ты вошла в автобус, а я сидел и писал этот текст, и был настолько погружен в него, что тебя не заметил. А ты заметила, поздоровалась и быстро прошла в дальнюю часть автобуса, села рядом с кем-то, и у вас начался диалог, вызванный твоей заинтересованностью. И мне стало больно. То есть, боль мгновенно охватила меня, это я могу утверждать по тому, что старался делать вид, что ничего не произошло. Но тетрадь я убрал, теперь она стала мне ненавистна; только что я сидел, погруженный в счастливую эйфорию, рисовал твой образ; вернее, я подбирался к нему, я предвкушал встречу с ним, я начинал издалека, шёл окольными путями, придумывал детали антуража, настраивался, как играющий на бокалах; и вдруг... и вот... ты вошла и одним махом сокрушила эту хрустальную пирамиду – одним своим появлением;

твой воображаемый образ столкнулся с живой тобой и не выдержал – разлетелся вдребезги. Ты сидела и разговаривала с парнем, который, наверное, обезумел от счастья – я слышал глуповатый подростковый голос, о чём-то смеющийся, он прерывался вкраплением твоего милого голоса, и вскоре после того вы замолчали. Я, напряженно прислушивавшийся, подумал, что, как и ожидалось, больше не о чем говорить, и рассматривал даже такой фантастический вариант, что ты, попросившись вежливо, пересаживаешься ко мне, и уже теперь я становлюсь от счастья блаженным глупцом; сохраняя, однако, трезвость голоса и начиная свой внутренний, по сути, только озвученный с тобою – монолог. И ты действительно оказалась рядом со мною, но ты стояла в профиль, а если бы собиралась сесть рядом, ты была бы обращена ко мне всем своим существом. Я понял, что ты просто собралась выходить на этой остановке. Я повернулся к тебе и сказал: «Привет! извини, я тебя не заметил», как будто тот мой привет, брошенный тебе вслед, когда ты так стремилась к другому в конце салона, остался тобою незамеченным; и ты снова сказала мне «привет» с улыбкой; и мы почти одновременно отвернулись друг от друга; мы синхронно совпали в определении и отмере времени, которое полагается на приветствие и прощание; я повернулся и уткнулся в свою книгу, не став провожать тебя «долгим и мучительным» взглядом; а ты вышла на остановке «Спартак», как собиралась; и я, сидя в отъезжающем автобусе, сопоставлял эту

нашу утреннюю встречу с услышанным от тебя вчера, что у тебя «планы на этот день». Я стал думать, какие же это планы. Я не знаю, где ты работаешь – может, это мистическое кафе – на «Спартаке»; может, ты собралась кого-то навестить, может, пробежаться по магазинам, зайти на рынок «Пушкинский», что на «Спартаке» (эта мысль пришла мне в голову уже сейчас, когда это пишу). Я увидел течение твоей жизни – оно не совпадало, не соприкасалось с моим, оно летело и летит сейчас где-то рядом, в пространстве, как орбита (я уже пишу, что в голову взбредет), выписывает причудливые дуги и траектории, – оно похоже на полёт птицы с ветки на ветку, с тротуара на мостовую, с кроны клёна на плитку модных магазинов; оно похоже на солнечный луч, на радиоуправляемый солнечный луч, который, направляясь деятельным и целеустремленным сознанием, описывает спирали вокруг проводов, скользит по крыше пришвартованного автобуса, пробежался по сумочкам и пакетам модниц, застыл у увешанного бижутерией ларька, зарылся в цветные ткани и шали дородных женщин с черными волосами, разговаривающих на гортанном наречии; он (луч) пролетел мимо кованых решёток и поблескивающего аквариума, он описал дугу вокруг памятника неопределенной формы и полетел дальше на набережную; ему навстречу улыбнулось море, оно рябит в глазах и сверкает отражениями солнца, и вот, ты – один из его лучей, ты пляшешь в его короне, ты, как шарик йойо на солнечной веревочке, то взлетаешь в высоту, дальше

и выше облаков, то опускаешься к самой воде; но вот веревочка йо-йо рвется, не выдержав напряжения, и остаешься здесь, на земле, навсегда.

(Жизнь удивительна и прекрасна. Не помню, к чему написал эту фразу, но она есть в тетради.)

Ты остаешься здесь, на земле, ты превращаешься в живую, зоркую женщину с необычайно цепким и внимательным взглядом, ты ходишь теперь по улицам и носишь с собой белый сафьяновый саквояж, откуда вынимаешь иногда какие-то зелья и эликсиры и продаешь их. У тебя на шее развесной лоток, а на нем – снадобья; ты что-то выкрикиваешь, зазывая людей; или – нет – не выкрикиваешь, это не в твоей манере, ты просто предлагаешь, а прохожие подходят, прицениваются, что-то выбирают, и вдруг – я оказываюсь одним из таких прохожих; я одет в кожаный светлый плащ, хотя на улице жарко, и я выгляжу точно как Крымов из «Ассы» Соловьева; и еще у меня на руке часы со швейцарским логотипом, а из нагрудного кармана выглядывает золотая цепочка; я производжу впечатление благопристойности и успеха, и я хочу тебя соблазнить, но ты отвергаешь меня, ты с негодованием бросаешь мне в лицо несколько фраз, затем поворачиваешься к другому покупателю.

Набережная сменяется гаспринскими улочками, изгибающимися и стремящимися, как потоки дождевой воды, к морю; ты стоишь в конце длинной улицы, стоишь возле бордюра, а на нем – тяжелые сумки. Я даже вспоминаю одну сум-

ку – такая сумка, синевато-серая, была в нашей семье много лет назад. Ты стоишь, отдыхая, ты как будто волокла эту тяжёлую сумку снизу, и еще – будто у тебя сотни невысказанных претензий, и сегодня ты собралась на эту тему со мной поговорить. Но вот и это видение изживает себя, улетучивается. Ты на вершине горы. И, несмотря на это, я могу тебя приблизить взглядом. Ты стоишь и смотришь сверху, из-под облаков. Вокруг струится вечер, закат, солнце касается айтпетринских зубцов, рубинит их, окунает в золото и оставляет просохнуть. Ты смотришь вниз, со смотровой площадки, ты перегнулась через перила, но ты не собираешься падать, ты просто очень задумчиво, мечтательно и серьезно смотришь вдаль.

Мне пришло в голову, что ты можешь захотеть учиться чувственности не со мной; ведь я ничему не смогу тебя научить; я знаю только простые ученические движения... только такие простые движения, как приветствие, приветственный взгляд, слово утешения, снисходительное движение руки, переставляющей с места на место мягкую игрушку; я совершенно не осведомлен в области такой симфонически-политональной мистерии, как поцелуй; если мне и случалось механически перебирать его клавиши, то делал я это, копируя внешние образцы, которые моему воображению поставляет кинематограф. О том, что поцелуй – это таинственная завеса, с бархатным шуршанием приоткрывающая волшебный узор звёздного неба на стеклянной стене, я начинаю до-

гадиваться только сейчас; и делаю это я, глядя на тебя, наблюдая, как ты вбегаешь в автобус и, повинуюсь траектории чувства, облетаешь попытавшийся приблизиться к тебе тяжелый грузовой звездолет, доставляющий с далеких звезд обогащенную руду, и приземляешься на зеленую планету с лужайками и ручьями; ты, как бумажный самолетик, облетаешь этот волшебный сад, созданный твоим воображением; когда ты говоришь, я слышу в твоей речи совершенно незнакомые мне ноты, я прислушиваюсь к ним, как профессор в пенсне, знающий несколько европейских языков – но ни слова не разбирающий в живописных пререканиях туземцев с Бора-Бора; и с этого момента мне интересен мир чувств, я тоже хочу приобщиться к нему – но, увы, у меня нет способностей, я вижу чувства нарисованными на бумаге, как и слова, которыми я обозначаю их. Мне кажется, я смотрю на тебя из окна автобуса, из которого ты вышла на своей остановке. Я могу кричать, могу стучать в стекло и царапать его, но ты не обернешься, а если и сделаешь это, то уже после того как автобус отъедет; и даже если предположить, что ты согласишься посмотреть именно в тот момент, когда я кричу, что ты увидишь? фигуру, которая мечется за стеклом автобуса-аквариума и широко открывает рот, но беззвучно; и глаза у этой фигуры ввалились от долгих бесполезных бдений, а движения рук нелепы, потому что царапать стекло бесполезно, и даже стучать изо всех сил – тоже не вариант, так как стекло крепкое. Разве есть шанс, что ты, пронаблюдав этот спек-

такль, остановишься и, может даже, прекратишь свое стремление в те места, куда зовет тебя такая притягательная сила свободы – свободы женщины, обладающей юной красотой – страшным оружием, которое, как представляется, может сокрушать целые армии; как ультразвук – нажать на кнопки – и многочисленные шеренги солдат валятся на землю, сраженные невидимой и невообразимой силой. Но, предположим, ты вошла в автобус, ты вернулась, ты прервала маршрут, ты поднялась на ступеньку – и ты увидела опять меня, ко мне вернулся звук, и я что-то говорю тебе; ты закрываешь мне рот руками, ты выводишь меня из автобуса и ведешь в свою жизнь, ты вводишь меня в свою жизнь. И – что? Куда я попал? Это волшебный сад Алисы; чтобы оказаться там, нужно уменьшиться в размерах и пролезть в замочную скважину; чтобы взобраться на хрустальные деревья и стрясти сапфировые плоды, нужно надеть специальные кошки, которые не вгрызаются в хрупкое стекло; нужно уметь летать, нужно, наконец, родиться в пространстве, где возможно взаимопонимание. Если бы я был твоим ровесником, смог бы я тебя понять? Нет, необязательно; но я был бы из одного гнезда с тобою, а теперь я – мрачный дирижабль, со вздохом скашивающий глаза вбок и ввысь, где стремительно пронесится невидимка стелс. Но нет, ты же спускаешься иногда со своей горы, как фея Эвенга, чтобы набрать воды и приготовить ужин; а я стану той водой; я умею это делать, или умел когда-то; надо просто лечь на землю и слушать твои

шаги, твои приближающиеся шаги, и распластываться, распластываться, покрывать все выемки и отверстия земли, и, наконец, студеным ручьём влиться в озеро, в тот самый момент, когда ты погрузишь в него свое серебряное ведерко; и вот, я оказываюсь в ведрах на коромысле, которое ты вносишь в горницу. Как ты будешь обращаться со мной? Часть меня ты зачерпываешь, набираешь в серебряную лейку и поливаешь цветы...

Глава III

Я соорудил невообразимую вазу для цветов, для коралловых роз, которые тебе собирался подарить... из пластиковой бутылки; нарёзал ножом острые лепестки, они нелепо торчали как осколки разбитого стекла; потом я догадался отогнуть их... Они очень красивы, эти розы, и даже на третий день после покупки они еще не увяли. Глубокий алый отлив; цвет лепестков густой и насыщенный, но в то же время солнечный свет легко пробивает их и разбрызгивает капли краски по стенам и стеклам. Я собирался купить обычные бордовые розы, но те оказались мрачными, неподходящими к веселому свету дня. Мне почему-то было бы интересно угадать, сколько еще они простоят? неделю? в это воскресенье я сфотографирую их и сопоставлю со своими чувствами. Да, сердце разбито вдребезги, но вчера у меня появилось ощущение второго дыхания. Из небогатого чувственного опыта мне было известно, что разбитое сердце не вылечивается сразу, а только спустя некоторое время; мучительная боль, невозможность думать о чем-то другом, постоянная горечь в груди, словно слезы вот-вот наполнят резервуар и перельются через край – все это не проходит сразу, но ты постепенно избавляешься, словно смываешь с себя очень въедливое вещество – вещество любви. Но вчера во мне ожила какая-то нечаянная радость, которая, сохранив остроту

чувства, в то же время дала мне возможность увидеть мир другим, неотягощенным взглядом. Мне это представляется чудом. Потому что слишком очевидна внешность, непридуманность этого источника радости. И теперь, сегодня, я думаю о тебе, но это не заслоняет от меня мира; у меня появляются какие-то планы, и нет этой рабской зависимости от другого человека; хотя, когда я думаю о тебе трезво, я слишком хорошо вижу, что тебе в данный «сезон» времени совершенно все равно – хотя раньше тебе вроде было интересно, что я производил на свет с помощью разветвляющихся фраз и необычных ритмических сочетаний. Может, прочтешь потом; может быть, ты притворялась, а теперь, вошедши в мир чувственных и, наверное, физических отношений с людьми, решила, что это «не твое»; женщины вообще на деле равнодушны к искусству, как и мужчины. Нельзя любить искусство и планировать его любить; то есть, быть любителем искусства и в промежутках между актами любви (которые выражаются в чтении, рассматривании картин, ассоциировании и связывании различных опытов в более-менее взаимозависимую картину проблесков прекрасного) думать о себе, как о том, кто будет любить искусство, и будет считаться таковым в глазах окружающих. Искусство можно только делать. И делает его не маститый прозаик с наканифоленными органами метафоротворения и сюжетообразования, а, скорее, необразованный воспитанник профтехучилища, который вдруг прочел «скажите же червям, когда начнут, це-

дуя, вас поглощать в земле сырой, что тленной красоты навеки сберегу я и форму, и бессмертный строй», и ему это показалось значительней, чем речи батюшки о бессмертии души и вере, откуда он до сих пор черпал свои скудные представления об эстетике или чем-то подобном. Неважно, что потом (хотя, учитывая короткость жизненного срока, важно) он пойдет за пивом и в примитивнейшем диалоге с «друганами» утопит все крохи небесного хлеба, почти случайно выхваченные. В конце концов он вернется – пусть это будет даже под конец жизни. В конце концов ты вернешься, скорее, это произойдет гораздо раньше, когда у тебя появится интернет, который ты сейчас совершенно справедливо считаешь ненужным излишеством, расслабляющим память и деятельное воображение. Но есть и положительная сторона – слепки наших душ, которые в очном диалоге бывает трудно и даже невозможно разглядеть; мы как бы совмещаем увиденный образ с реальностью, и это то, о чем говорил Китс: «Видеть, чтобы воображать, и воображать, чтобы понять смысл увиденного». А вообще, я, обратившись мыслью к тебе и вспоминая свой опыт, утверждаюсь в одной радостной новости, быть может, она и тебе покажется верной: счастье любви – в факте существования этого человека, потому что ничего больше мы не можем потребовать. И в радости, и в надежде видеть его хотя бы изредка. Я надеюсь, что скоро увижу тебя, хотя в графиках и не нашел точных дат и цифр.

Глава IV

...Единственно, на что меня хватило, – это вывести крупными буквами: я не могу без тебя. Эти слова звучат в тишине, к которой не хочется прислушиваться, потому что знаешь – прислушиваясь, начнешь различать посторонние (чуть было не написал «потусторонние») звуки, звуки, которые своей обыденностью уже словно бы рассказывают новую историю и сбивают меня с пьедестала моего великого горя. Если я прислушаюсь, то различу журчание воды; я придумал бы, что она бежит из-под крана – эдакий непреременный признак былых коммунальных квартир, где плохо закручивался кран; и слышно, «как булькает влага по трубам внутри батарей», и «сырость капает слезами с потолка». Но на самом деле кран в квартире закручивается хорошо, и то, о чем я говорю – постоянно обновляющаяся жизнь, – которая словно бы рассказывает новую историю – это плод моего воображения; мои когда-то читанные впечатления о переживших горе и пытающихся утешиться пением птицы, журчанием реки, голосами на улице. Я могу включить чайник, и он начнет издавать звуки нагревающейся воды, но это не выведет меня из состояния горя; горе заключается в том, что с трудом заведшийся механизм остановился в растерянности – ожидаемого путешествия не будет. Странное дело – я начал писать, и у меня буквально отлегло от сердца, и даже об этом

эффекте я знаю, и, можно сказать, начал я выплескивать себя еще и с этой целью – пропустить через шредер мысли и рефлексии печальный рисунок, который вышел в эти выходные. Собственно, это не рисунок, а грустный казус расстроенного воображения. Я должен запретить себе глядеть на ее фотографии, которые я заботливо скачал откуда только возможно. Я смотрю на эти фотографии, слушаю чудесную музыку и, кажется, уношусь в такие дали, куда немислимо забраться воображению; но чем дальше, тем больше разрыв между этим придуманным образом и живым существом. Живое существо Маша. Все разбилось о странный, как корабль на волне, факт твоего бытия. Все мысли и установившиеся цепи, связывающие меня и других. Образ великой былой любви поблек. Почему? Даже не хочется вдумываться в это, потому что понимаешь – существование живого человека опрокидывает все нагромождения.

Чувствуешь себя как клоун, с лица которого сошла краска, но он еще пытается сравняться с другими, блестящими своими румянами и накладными ресницами.

Иногда мне приходит в голову, что это – простой расчет. Конечно, не все абсолютно чувства девушки – расчет, но в общем-то она стремится обустроить свою жизнь наилучшим образом, да еще и в самое благоприятное время. Что-то я скатился от возвышенности к холодному перебиранию выгод и потерь. Она написала: «Помните, мы с вами договаривались в воскресенье пойти на море?» – Помню ли

я? да я всю неделю этим жил только. Цветы в ванной... Хотел поставить их на стол, в банку какую-нибудь, так как вазы у меня нет. Потом решил – пусть уже лежат в том состоянии, в котором они были предназначены к своей миссии. Бутылка дюшеса в холодильнике тоже пускай лежит. Не сделаю ни глотка... Сейчас приду, посмотрю на цветы – не завяли еще? Коралловые розы. Я хотел сначала традиционные бордовые. Но они смотрелись мрачно. А эти – яркие, красные, но не алые, такие – оттенка чешского стекла, с глубоким отливом. Под ярким солнцем они смотрелись бы весьма мило...

...хотя тосковать по тебе – благо, и даже сейчас, когда чувства, словно бы всколыхнутые океанской волной, постепенно успокоились, я перебираю в памяти те редкие крохи соприкосновения, которые остались в памяти. Камешек, что я подарил, и ты обрадовалась. Обрадовалась таким образом, что мне это показалось добрым знаком. Выходит, я ошибался? То странное чувство, вызвавшее мгновенный зрительный образ, когда, после воскресного нашего с тобой дуэта, собирался заговорить с тобой и внезапно увидел тебя в чьих-то объятиях... Образ возник такой: будто по сердцу царапнул острием узкий кухонный, с насечкой, нож, но и будто и сердце мое было обернуто в поролон (именно в поролон); и острие ножа не причинило мне боли, только вонзилось в поролоновые ткани и, не имея намерения проникать глубоко, скользнуло по ним и вышло. Иногда примешивается

обида, что ты отказала в безобидном походе на море. Чувствуешь себя слегка социально растоптанным. Мне хотелось поплавать с тобой, покружиться вокруг тебя в глубине дельфином, потаскать за ноги, сплавать до буйка, понежиться на мелких и ласковых камешках у кромки прибоя. Но твоя траектория иная...

Глава V

Хочется писать, обращаясь к тебе. Невзирая на то, что уже довольно давно горизонт застлан тучами; или, скорее, наоборот – горизонт девственно чист, ясен, кайма моря приторочена к атласной блузке неба, и солнечный свет ярко и очевидно демонстрирует отсутствие каких бы то ни было надежд. Надежд на встречу, на несколько ничего не значащих слов. Боже, сколько я произношу речей, обращаясь к тебе – будучи наедине с собою; и тут же одёргивая себя, помня, что это ни к чему не приводит. Или приводит к отдалению живого человека. Раньше, года три назад, будучи влюбленным, да нет, что там – переживая огромную, единственную, невозможно великую любовь, я только и делал, что разговаривал с нею; мне не наскучивало проходить по несколько километров, потому что эти часы были заполнены диалогами. Все время приходится говорить – ущипни себя. И напоминать: вернись, вернись. К слову сказать, часто я представляю, что увижу тебя, тем более что проще простого встретиться в Гаспре, – и летом, когда нет учебных штудий. И, если честно, я боюсь этой встречи. Памятуя о том, как я тебя не заметил недавно в автобусе, я теперь оглядываю внутренность автобуса самым добросовестным образом; однако тут же сам себе говорю – ну и что такого, если не замечу. Вообще, не заметить, не узнать человека – я поражаюсь, как это для меня

возможно, прежде всего и потому, что я намеренно декларирую презрение и равнодушие к окружающим. Но поиск знакомого, единственно вызывающего интерес лица – сопряжен с заглядыванием в другие лица. На доли секунды, чтобы хотя бы убедиться, что это не она. И что я там вижу, в этих лицах? Все ту же свою убежденность, что не стоит... что они не стоят внимания; все мысли читаются, вся сущность приветствий и обменов любезностями – как на ладони. Низкий, пустой народ. Но, может, я несправедлив? Это вынуждает меня обратиться к мысли, зачем я живу, как понимаю свое существование и, в частности, в данном географическом регионе. Я живу, как будто не задержусь здесь, а между тем живу уже долго и подозреваю, что не буду двигаться с места. И к людям я отношусь не как к маякам на пути следования моей лодки извилистым фьордом жизни, а как к случайным и досадным событиям, которые могли бы и не произойти, но, раз уж происходят – пусть их. Твое существование что-то меняет; быть может, оно даже меняет для меня все; мысля тебя как жителя данного региона, я вынужден представлять и весь круг твоих занятий и интересов, и как это все соотносится с занятиями и интересами живущих здесь. Кто они? парикмахеры, медсестры, строители, продавцы, учителя, кассиры, водители, отцы семейств, почтенные матроны, пенсионеры с замедленными движениями. У всех у них – я недавно прочел Шопенгауэра – есть достаточное основание для собственной жизни. Они уверены, что живут совершен-

но оправданно, что этот воздух, который они выталкивают впереди себя на прогулке, принадлежит только им. А как они ведут себя, проникая без зазрения очереди вперед тебя; и, наоборот, как агрессивно и самодовольно орут, если ты по каким-то причинам, или, по втемяшившемуся им в голову представлению, незаконно опередил их.

Я возвращаюсь к тебе. Я испытываю к тебе странную нежность, и у меня такое чувство, что в эту нежность нужно постоянно подкладывать сухой хворост стремления мысли и чувства, но это необременительно для меня; хотя, вспоминая, как я относился к тебе даже в течение этого года – я гляжу на себя сейчас и понимаю, что внешне ничего не изменилось, внутренне – сработала какая-то пружина, какая-то внутренняя недосказанность ищет выхода, вернее, начала его искать; засустились маленькие кровяные тельца, кровь побежала быстрее, по нервам и жилам задвигались, как по коаксиальному кабелю, образы и картинки, и, оказываясь перед необходимостью ничего не делать или делать все как раньше, я спрашиваю себя – стоило ли начинать, стоило ли разбирать глухую стену восприятия и сваливаться с кирпичной стены на проезжую часть дороги. Ведь на дороге ты всем только мешаешь; тебя объезжают, тебе сигналият, тебе приходится уползти на обочину, и там, на травке, в кустах – придумать, куда необходимо добраться. И перво-наперво нужно обзавестись средством передвижения. Прошло уже полгода, а до этого – еще два года, с тех пор как меня по-

сетила такая мысль, но ничего не изменилось; но в последние несколько месяцев изменения медленно – но происходят; и я надеюсь, что скоро, в какой-нибудь ненастный день, я подлечу к тебе, одиноко стоящей под дождем в ожидании маршрутки, подхватчу и умчу в направлении вверх; мы взойдем над лесом, над горой Курчатова и предгорьями экопоселка Горный; я словно бы вижу эти вздымающиеся остроконечные шпили сосен; они будут там, внизу, они будут проплывать – мы полетим над ними – медленно, как на воздушном шаре, но в то же время быстро; полотно дороги внизу будет узким, на нем едва различим автобус, который чуть не увез тебя, прежде чем я сумел его опередить. Мы поднимаемся все выше; воздух посвежел, иногда нас колышут встречные потоки ветра; мы летим, впереди солнце садится за гряды гор; мы летим в направлении этой гряды, но солнце село раньше, чем мы долетели, и почти сразу настала тьма. И звездное небо нас окружило. Мы летим, как Коровьев, Маргарита, Азazelло и Фагот у Булгакова – в том же пространстве и с теми же звездами; внизу силуэты гор и домов; мы оказываемся над нашим поселком. Сейчас мне надо отвезти тебя домой, но мне не хочется тебя отпускать. Однако попадать в четырехстенное пространство своей квартиры я тоже не хочу. Выход есть – облететь Землю; и мы полетим сейчас на юг, в сторону Турции. Море будет всю дорогу лунно блестеть под нами. Мы коснемся турецкого берега, пролетим над Малой Азией, ее горами и перевалами,

заметим в лунном свете храм Зевса, пронесемся над Ливаном и Палестиной, окинем взглядом эти пустынные лунные земли и окажемся рядом с Иерусалимом. К Голгофе приближаться мы не будем. Лучше проделаем маршрут, которым некогда шествовал Иосиф, проданный братьями в рабство – в Египет. От ветвистого устья Нила мы полетим вверх по этой змеистой сверкающей реке, и крокодилы, заслышав шум мотора, будут бросаться ребристыми огромными телами в лунную воду с уступов. И мы окажемся в верховьях Нила. Где-то, в чаще, рядом с небольшим озерцом, я разведу костер; чаща осветится неровно, из тесноты ветвей будут с удивлением выглядывать длиннохвостые и яркоперые попугаи, удивленные тем, что их разбудили посреди ночи. Да, это определенно картина рая – Питера Брейгеля. Мы останемся здесь до поры до времени, пока солнцу не придет пора «надеть на гребень огненный венец», и дню – излить свою роскошь на пробуждающуюся природу.

Глава VI

Я очень хочу, чтобы сейчас пошел дождь. Потоки воды будут литься с небес и заглушать течение слез. Я растворяюсь в сентиментальности. Звуки этой мелодии капают и звенят, звенят сентиментально, как колокольчики, и в то же время они будто сливаются воедино с твоим образом; и уже эта мелодия – самое верное, что будет напоминать о тебе. Время опять поделилось на невозможные периоды. Как у Франсуа Мориака – невозможно, чтобы это продолжалось даже минуту. И в этот момент что-то происходит. Но в случае с тобой я понимаю – неоткуда ждать надежды. Я ставлю себя на место человека, который переживает подобное томление; при этом, скажем, этот человек влюблен в меня, а я об этом ни сном ни духом не ведаю. Для меня в этом случае время будет идти размеренно, неспешно, для того человека оно станет набором состояний – безысходность, негодование, уныние, покорность, тоска, апатия, механистичность движений, чередование все более ослабевающих картин, ослабевающих от невозможности увидеться. Этот человек пройдет стадии надежды, ожидания, томления, критической отметки, фатализма или равнодушия; возможно, он попытается сохранить врученный ему факел любви; но, может, выбросит в пруд, как в «Конане-варваре» – только что таинственно мерцавшие в темноте рои огоньков превратились в мокрые спич-

ки, заполнившие гладь фонтана. Может ли человек вообще существовать без влюбленности? Да запросто. Большинство из нас к этому стремится, стараясь избегать треволнений любви. Это бессонница, это постоянная проверка себя «социального» на прочность – что я для нее, кто? как мне поразить ее воображение? потом понимаешь, что женщина сама делает выбор; если она выбрала, то счастливому обладателю лотерейного билета не нужно особо напрягаться – она будет превращать его недостатки в достоинства, его неразвитость – в милое дикарство, любые его слова будут обдумываться и наделяться важным смыслом, и при сравнении с другими предпочтение отдастся ему. Но все равно вынашиваешь в голове множество планов, один мечтательнее другого – то ты собираешься ей что-то подарить, то где-то оказываешься рядом и много раз подряд прокручиваешь воображаемую ситуацию, воображаемые слова – и, потешившись так, ты возвращаешься к своим занятиям, уделяешь им какое-то время, но вдруг мысль о том, что она – с другим, и кому-то достаются знаки внимания – эта мысль заглушает перебираемые струны привычных занятий, и ты снова приходишь к тому, что делать надо что-то, что связано с ней – и ты берешься за эту писанину, заранее зная, что мало кому это нужно, и мало кто, как гоголевская птица, долетит до середины текста; но чувствуешь себя одновременно и отважным путешественником в ледовой пустыне; ты зажигаешь эти костры слов, и к ним сходятся редкие обитатели по-

лярной фауны, привлеченные теплом. Может быть, может быть, какое-то тепло все же исходит от этих слов, и ты, сидя у холодной стены и даже, может, получая его из глаз своего избранника, почувствуешь, как я стремлюсь к тебе на таких вот безнадежных крыльях, как тот сумасшедший, что прыгал с колокольни.

Я начал писать что-то о бабочке – а потом оказалось, что среди твоих фотографий есть фотография рисунка на стекле – бабочка и цветок. Наверное, это твой рисунок (позже я узнал это от тебя при встрече). Другое совпадение – когда я искал оттенок аметиста (для подарка), я сразу выбрал один, фиолетово-сиреневый, и достаточно яркий; а потом оказалось, что среди твоих фотографий есть точно такого же цвета – на ней изображено какое-то цветущее дерево. Сейчас вечер, и мысли мои смешались. Оказалось, что в пространстве ты совсем рядом. Но это тот случай, когда, будь это даже соседняя дверь на этаже, расстояние все равно измеряется световыми годами. В том случае, если не будет повода его преодолеть. А повод есть. Но я не двигаюсь с места; даже несмотря на то, что мне кажется – вот, еще немного потяну время – и все пропадет. Но я не куплюсь на эту уловку времени. Мне кажется, такие вещи, как преодоление расстояния в этом случае, должны выдерживать его напор.

Вечер сменился глубокой ночью; я не пойду сегодня, как вчера, на разведку к дверям твоего дома; на разведку – что-

бы убедиться, что такой дом и такая квартира действительно существуют в природе и на этой улице. Эти жаркие вечера пробуждают воспоминания, которых нет. Есть только желание вспомнить что-то – вернее всего будет сказать: «из прошлой жизни»; но скорее всего, это «что-то» из детства; какие-то подобные жаркие ночи, с раскрытыми окнами, духотой и непонятным брожением в крови. Вечность назад это было. Главная, наверное, разница между теперь и тогда – это одиночество души и духа, обособленное, закрывшееся в своей башне из слоновой кости. Тогда же, я вспоминаю, были чьи-то приезды, разговоры, сидения на кухне, между тем как дети засыпали в комнате. Квартира маленькая, меньше той, в которой сейчас я нахожусь, «хрущёвка»; и «в наши дни», оказываясь там, я всегда поражаюсь мысли о том, как она могла бытьместилищем всех наших детских впечатлений, болезней, страхов, радостей, средоточием стремлений и желаний, местом для чтения и праздников, местом, где можно было предаваться мечтам, спать, встречать новый год, общаться с родственниками, приезжавшими из другого места жительства в городе. Когда я думаю, пытаюсь воскресить какие-то события, всегда спотыкаюсь о мысль – как же этого мало. Впрочем, это, наверное, недостатки памяти. И, скорее, неумение использовать её правильно. Правильно – это таким образом, когда заструятся доселе молчавшие источники, побегут ручьи слов и оборотов; речь убыстрится и за сверкает эпитетами; конструкции предложений усложнятся,

и станет возможным окидывать внутренним взором большие пространства слова и мысли.

бабочка таинственного сада —
хрупкий блеск твоих прозрачных крыл
наслажденье, негу и отрады
дóтоле неведомы открыл

что теперь мне рощицы иные
после сени райской тишины...
видел я сквозь крылья расписные
край блаженной, призрачной страны

и вкусить желал от наслажденья,
отрекаясь и добра, и зла
в бесконечность, райские владенья
взмахом крыл ты за собой вела

но проснулся я, как рыцарь бледный
в одиноком замке голых стен
улетучился, исчез бесследно
крыльев бабочки манящий плен

но не сени райской я взыскую —
что мне рай в его прозрачной мгле —
каждый божий день теперь рисую
крыльев взмах стоцветный на стекле

Глава VII

Любовь – величайшее чудо, потому что притяжение одного человека к другому невозможно объяснить ни естественными, ни сверхъестественными причинами. И она же одновременно есть рай, потому что изобилие райского сада происходит от переполняющей сердца любви; и она же одновременно есть бог, потому что невозможная, непонятная смертным радость, по сравнению с которой благоденствие богача кажется бледной стоячей водой, возможна только в боге и от бога. Радость любви незаметна никому, кроме чистых сердцем. Радость любви никому не нужна, кроме чистых сердцем и жаждущих вечной жизни. Радость любви так же сильна, как физическое страдание, и страдание есть отражение любви в зеркале земной суеты. Радость любви пересиливает сомнения, терзания, душевный голод, ужас и страх перед будущим, отравляющие воспоминания прошлого. Все это меркнет и перестает существовать, когда человека охватывает радость любви; но возвращается с небывалой силой, если радость любви покинула вас. Однако радость любви никогда не отнимется ни у кого. Только у некоторых она перейдет в отчаяние. На дне великой радости любви всегда есть горечь отчаяния. Отчаяние для отчаявшихся – в невозможности соединиться. Для сохранивших радость – в невозможности любить другого – кроме любимого – человека. Любовь

так же единична, как камень, лежащий среди миллионов своих собратьев на берегу – разве найдется хоть один такой же? Любовь – это уникальный индивидуальный код к замку, навешенному на ворота восприятия; любовь откроет все двери познания и выведет из любой трясины привычек и обрядов. Любовь – это самый неожиданный дар, потому что сложно представить, как ты ждешь, что тебе подарят любовь. И этот дар у тебя в руках, он дан тебе, чтобы высвечивать, словно фонариком, свои внутренности и хранить частичку огня. Но вообще он дан, потому что только состояние безудержной радости будет оправдано в ином измерении; он дан как кратчайший путь к блаженству вечному и к его обителям.

Двадцать первое августа, накануне поездки.

Вокруг ночь, но уже третий час я не могу уснуть. Образы, речи, взгляды переполняют меня. Так неожиданно все разрешилось. Весь этот день, с раннего утра, я боялся. Я боялся двигаться в том направлении, которое избрал; а выбрал я путь, приводящий к тебе. У меня было с утра несколько дел, и я с облегчением предался им, чтобы только оттянуть тот час, когда необходимо будет встать и идти. Я даже забыл, что сегодня вечером на службу. Звонок напарника вывел меня из состояния оцепенения, но на службу я все равно не пошел. Я позвонил и узнал от третьего лица твой адрес – вернее, она рассказала мне, как туда добраться; это оказалось

в трех минутах ходьбы от дома.

Дальше – пиршество. Начиная с того момента, когда я сидел за столом, вел беседу. Ты сидела напротив, и в глаза твои можно было украдкой и неукрадкой окунуться. Беседа довольно быстро из обличительной превратилась, в общем, в дружескую. Хотя твои родители своеобразны, но это не помешало им участвовать в разговоре. Долгим и в то же время незаметным получился разговор. И теперь я завтра буду весь день с тобой. Наверное. У меня ощущение, будто я одним глазом вижу райские обители. Непрерывно. Это странно, если учесть, что там, как предполагается, будет очень яркий «нетварный» свет. Самое удивительное – то, как эти два года промелькнули и сложились в одну застольную беседу. Самая близость к тебе мешает писать. Сейчас текст мой был бы исполнен глубокой тоски, он бы разветвлялся, змеился несбыточными предположениями, фонтанировал гроздьями оборотов. Но теперь я питаюсь мыслью о близости к тебе, бесконечном времени, которое я завтра проведу с тобой. Глубокая ночь, я не могу уснуть. Я не хочу, чтобы текст заканчивался. И не хочу, чтобы заканчивалась ты.

Глава VIII

Твой образ постоянно со мной... Он настоящий, я постоянно вынимаю его из сердца и держу перед собой, подношу к самым глазам, оттуда выкатывается крупная слеза, падает на изображение, и лик твой преломляется в этой капле; я вновь убираю твой образ в сердце, но не закрываю этот киот на ключ, потому что вскоре опять рука потянется достать его. Но, когда я не гляжу на твой образ, я все равно думаю о тебе, я говорю с тобой, я рассказываю тебе все то, что не успел рассказать позавчера – а я почти ничего не успел, хотя мы были вместе весь день. Но я вспоминаю, что многое не досказал, упомянув одно, я забывал про другое; так, рассказывая о том, как я «признался в любви», я забыл сказать о том, что другому человеку, вернее, третьему, который в тот момент находился рядом с нами, тоже стало хорошо от эмоций, перехлестнувших через край, и, видимо, окативших всех, кто так или иначе находился в радиусе нашего разговора. Я рассказал тебе содержание пары фильмов, я о чём-то упоминал и все время чувствовал, что слов не хватает, что я постоянно залезаю в дебри, откуда не знаю дороги, говорю о вещах, о которых имею смутное представление – и я признался тебе в этом, и ты поняла и приняла это, с улыбкой и смехом; ты вообще все понимаешь, и, идя вместе с тобой по лесной дороге и говоря тебе что-то, а потом

останавливаясь, чтобы уточнить и иначе осветить то, о чем только что говорилось, я... у меня перехватывало дыхание от того, что меня так слушают и так понимают; я никогда, никогда раньше не встречал такой точной и правильной реакции на свои мысли; еще и возник эффект, когда я, который проговаривал разные вещи как бы в разговоре с тобой раньше, теперь, в действительном разговоре, увидел настоящую реакцию, и она была такой, как и предполагалось. Точнее, эффекта никакого не возникло – просто можно было говорить, можно было сбиваться, смеяться над этим, умолкнуть, если мысль терялась, честно признаться, что слишком далеко ушел в сторону от главной мысли, чтобы её вспомнить; ты все понимала и слышала, с тобой интересно говорить, ты умеешь слушать и обладаешь рассудком и здравым смыслом, и юмором, чтобы смеяться над действительно смешным в окружающем нас пространстве; и ты... Кажется, мы начали с тобой говорить на том самом месте, где, в полдень, возвращаясь с источника, сели на траву отдохнуть. Да, кажется, это то самое место. Утром мы ехали с твоими родителями часа два, и последние несколько километров – по лесной дороге, колдобистой и ухабной. На развилке мы остановились, твои родители вышли, а мы остались вдвоем, и я о чем-то спросил у тебя. Или что-то сказал – кажется, я делился впечатлениями этого утра, когда почти всю дорогу из Ялты мы читали акафисты и пели духовные песнопения. Я сказал тебе, что вначале мне это показалось лишним и обременитель-

ным, но потом я «втянулся», потому что решил принимать все в этот день. Потом мы приехали в монастырь, к концу службы; помню, как мы вышли из церкви в яркий солнечный день, овеваемые прохладным ветерком, и пошли вниз – с тобой и твоей мамой (которая младше меня на год). И здесь мы опять стали говорить – но недолго – мама твоя хотела, чтобы мы подошли к «старцу», который бы ответил нам на наши вопросы. Старца поддерживали под руки двое послушников; ему было очевидно тяжело ходить, он все время как будто перегибался в пояснице, и было ощущение, что его верхняя половина вот-вот отделится от тела. Он был очень приятен и открыт, но говорил странно, как будто перескакивая через два-три связующих звена – поэтому главная мысль его речи скорее угадывалась и достраивалась самим собеседником. Он сразу захотел, чтобы я остался в монастыре, и стал указывать в направлении строящегося здания; я понял, что здесь нужны рабочие руки, и стал прикидывать варианты, при которых я мог бы остаться. Ты стояла рядом, пока старец говорил мне что-то; он говорил не только о здании, понимать его было сложно, но я, подавшись вперед, слушал его, показывая, что если даже и не понимаю до конца, о чем идет речь, то напряженным вниманием искупаю свой грех; параллельно я видел тебя, стоящую рядом и ждущую своей очереди, и поэтому мне было немного неудобно заставлять тебя ждать; но я сказал себе, что здесь так принято, и успокоился. Вскоре твоя мама, кажется, именно в этот момент

настойчиво предложила спросить у старца, что мне делать в отношении моей жены и моей семьи. Я начал говорить: «У меня есть жена...» или: «я развелся с женой...» – что-то подобное; и внезапно интерес у старца угас; он явно перестал слушать, я даже не стал заканчивать первое предложение. Я действительно не знал, о чем мне спрашивать, о чем честно и сказал твоей маме; после этого ты подошла и попросила благословения пойти на источник. Ты и утром, когда мы приехали и вышли из машины, уже упомянула об этом источнике и желании пойти туда. Тогда мне представлялось, что источник где-то неподалёку, как церковь на холме – а монастырь метрах в двустах ниже; но источник оказался дальше. Ты попросила благословения, и кто-то, кажется, даже сам старец сказал: ну как же ты одна пойдешь? Тут я произнес – «благословите меня пойти с Машей»; старец сразу сказал: «Конечно, благословляю, ты – воин Христов...» – или: «Такой воин Христов – конечно, идите...» – что-то такое. Кажется, если даже мама твоя была – не то чтобы против – но не совсем «за» – такого оборота событий, – то после благословения все разрешилось. Мы взяли рубашки для омовения, чего мне не хотелось делать, так как я представлял себе некий пляжный вариант. Огромная из грубой ткани рубашка – рубище, хотелось сказать. Плюс к этому твоя мама наказала прочесть акафист – там, на источнике. Мы пошли, стали подниматься в гору, и счастье разлилось во мне постепенно, как вода из ведра, которое забыли под открытым кра-

ном. Я хотел сфотографировать тебя на фоне встретившихся коз – или овец – скорее коз; ты отказалась, что не помешало мне назвать тебя агнцем в стихотворении, которое я сочинил под утро следующего дня, то есть, той же ночью. Ты отказалась сфотографироваться, и во мне шевельнулась самоассоциация – турист, забредший в некую патриархальную страну – и табу среди туземцев на фотографирование, которое «похищает душу». Но это был еще один повод почувствовать себя недостойным и обвинить себя в чем-то греховном. Однако все это лишь мелькнуло. Мы поднялись на гору, потом стали спускаться. Если б я мог, я бы восстановил весь разговор по репликам. Впрочем, это не нужно; нужное само всплывает в необходимый момент. Помню, я прочитал тебе стихотворение «Ты – светлый горизонт рассвета...», посвященное М.П., и сделал паузу перед конечной строфой, где раскрывался смысл: «Вписать параболу «люблю»... Я остановился на дороге, читая это; и ты поняла, ты совершенно точно прочувствовала, что я имел в виду. Мое восхищение и блаженство возрастало. И я сказал тебе – как мне с тобой хорошо! Боже, тебе можно говорить все! Все, что думаешь, что чувствуешь! Иногда я отворачивался и говорил это про себя: «Боже, как хорошо!» Потом глядел на тебя и произносил то же самое. Обычно я делал так в любых обременительных условиях – на работе, на службе. Бегаешь или чем-то занят, устал – отводишь взгляд в сторону, и – «Машенька, Машенька, милая...», – сразу легче. А тут – «Машенька,

ка, Машенька...» – в сторону, поворачиваешься – а ты стоишь здесь передо мной. Такое стереоблаженство. Как будто стрела нежности, благодати пронзает тебя насквозь. Струя, волна счастья перекатывается через тебя. Мы идем дальше; я совершенно не разбираю дороги, не запоминаю – я полон только тобой; о чем мы говорили дальше, не помню; путь был длинным, но вот, наконец, пройдя участок лесной дороги, мы внезапно оказались на источнике. Внезапно – потом что дорога уходила дальше в лес, и я мысленно представлял себе, что нужно идти именно туда, а ты вдруг говоришь – все, пришли! Источник – это такая бетонная ванна прямоугольной формы, выдающаяся примерно на половину дороги; вода вливается сверху из плиты и вытекает с противоположного конца, и бежит в лес. С обеих сторон в ванну спускаются ступеньки, которые позволяют спокойно войти в воду. Мы стали читать акафист. Читать и петь. Когда нужно было петь, ты не сразу подхватывала, а я давал настройку, но что-то не сходилось, и я помню, что начали срабатывать навыки регентства – грубоватое подталкивание – «вперед, вперед, подхватывай!» Но потом я сказал себе – успокойся. И стало действительно спокойно. Потом, дочитав акафист, мы приготовились к омовению. Ты ушла переодеться назад, за поворот дороги, так что я не видел тебя за деревьями. Я разделся и натянул на себя «рубище». Потом спустился по ступенькам в воду. Градусов шесть. Я выскочил очень быстро, но помнил, что нужно войти еще два раза. Холод хватал цеп-

ко, но, так как я быстро выпрыгивал из воды и погода была жаркой, я вполне успешно справился с испытанием. Потом, когда я уже стянул мокрое рубище и опять оделся, появилась ты. В такой же длинной рубашке, с рукавами. Она была более нарядной, чем у меня, светло-ржаного цвета, украшенная цветами. Одевшись, я не стал уходить, повернувшись вполборота. Ты вошла в воду, воскликнула от холода (а может, это я воскликнул), но осталась стоять. И ты стояла примерно по пояс – чуть выше – в ледяной воде, и, не вылезая из нее, трижды погрузилась с головой. Твоя фигура в этой длинной рубашке с цветами, осеняемая крестным знаменем, будет всегда стоять у меня перед глазами. Мне представлялось, что я смотрю на икону. Ты переоделась, и мы, набрав воды, пустились в обратный путь. Через некоторое время мы остановились отдохнуть, хотели найти поляну в глубине леса, а потом просто сели в траву у дороги и достали нехитрые припасы. Я рассказал тебе о фильме Соловьева «Сто дней после детства»; пересказал концовку фильма – где герой говорит: «Давай запомним это лето», ты как будто тоже его видела; я хотел, чтобы ты поняла эту мысль – запомнить все, что с нами было. Ты поделилась тем, что у тебя было на телефоне – аудиозаписью сочиненной тобой миниатюры. На заднем плане слышались голоса детей, я понял, что записывали в квартире. Я был удивлен ясностью музыкального языка. Легко различалась основная тема, за ней шло развитие, и мне показалось, что сейчас разнообразные аккорды

разбредутся по тактам и «утихнут вдаль», как колокольный звон, доносящийся с дальнего холма. Но вдруг зазвучала начальная тема, и произведение обрело форму. Слушать было приятно и просто. Я был рад сказать тебе об этом. Потом, позже, когда мы подбирались уже к монастырю, мы затронули этот вопрос – сходства и различия творческого начала и импульса в музыке и литературе; и ты сказала, что для тебя это не составляет проблемы; творческая мысль для тебя одинаково ценна и понятна в двух этих родах искусства; и я заметил, что у тебя в большей степени выражен музыкальный дар. Мы говорили о теме и ее разработке; я даже что-то напел, а потом попытался развить эту мелодию; читая раньше немногочисленные твои стихи, выложенные в контакте, я отметил их принципиальную «миниатюрность»; по своей форме они предполагали совсем небольшой объем и сгущенную, концентрированную эстетическую идею, которую можно было бы описать как внезапно выпархивающую на волю из клетки и устремляющуюся в небо – птицу. Я мысленно сравнил это со своим видением. Я помню, что говорил тебе, как ты необыкновенно чутка к прекрасному – и повторил тебе это потом раза два.

Мы вернулись – хочется написать «в лагерь»; на самом деле – в монастырь; было около двух или трех дня; твой отец чем-то был занят по строительству, я стал ему помогать, полез на стенку строящегося дома снимать доски опалубки. Потом искал длинные железные пруты арматуры; они были

разбросаны, по его словам, в траве; но там мы нашли только один прут, а три остальных, что были необходимы, добыли в самых разных уголках территории монастыря. Комбинация «ты, я, твой отец» обретает отличный от общелитературного смысл, если указать, что отец твой – мой ровесник и давний знакомый. Ты делала что-то по хозяйству, в промежутках подходила к иконе и читала молитвы. Потом ты села с книгой, держа ее на коленях. Я увидел название: «Девятая глава» и подумал, что это какой-то духовный роман, но это оказалось Евангелие (собственно, Евангелие и есть «духовный роман»). Потом была трапеза, где блаженство усилилось, так как я оказался рядом с тобой. Планировалось уехать сразу после трапезы, но через некоторое время многие из приехавших стали подходить к старцу со своими вопросами. Твоя мама вновь сподвигла меня к разрешению своего вопроса, который я так и не смог из себя извлечь. Едва я начал вновь: «у меня жена... я развелся с женой...», как старец безучастно склонил голову и стал говорить что-то, совершенно не имеющее к этому отношения. Потом он дал мне три свечки – две за здравие, и одну за упокой – и наказал поставить их сейчас на службе. Я вышел с легким сердцем, ты стояла рядом, там же, где я говорил с тобой до отправления к старцу; я тут же рассказал тебе все, как было; и мы отправились на службу – снова вверх по склону. Служба была длинной, в соответствии с уставом; через несколько минут после того как мы вошли, я присоединился к певчим; неко-

торое время я видел тебя в профиль, стоящей ближе к входу. В процессе пения и чтения я поминутно обращал взор в твою сторону, глотая живительный бальзам твоего присутствия. Но в какой-то момент ты исчезла; позже, по оброненным в машине фразам, я понял, что ты вышла из храма, утомившись (что немудрено!) и присела где-то отдохнуть, а потом уснула – «под деревом», как я услышал. Служба закончилась, мы с Сергеем, твоим отцом, вышли из храма и спустились с горы к монастырю; было темно; вскоре двинулись в обратный путь. Я хотел попросить сесть рядом с тобой, но не решился. Я сидел впереди, ты сзади, наискосок, и благодаря этому я изредка, хотя было и темно, мог, оглядываясь, видеть тебя. Ты протянула мне пакетик с кизилом, который мы рвали днем. Я помню, что это было очень тепло. Подъехали к твоему дому. Я вышел, взял рюкзак. Ты тепло улыбнулась и... сердце у меня стало превращаться в губку, смоченную уксусом, по мере того как я, поглядев тебе вслед, взвалив рюкзак, стал удаляться от твоего дома. До сих пор я не виделся с тобой, хотя этот чудесный, ни с чем доселе несравнимый день был только позавчера. Завтра он будет – поза-позавчера; и насколько он отдалится, прежде чем я снова увижу тебя? Я звонил вчера дважды, ты не брала трубку, и мне показалось, что в конце первого раза слышался мужской голос. Сегодня я не звонил, я пошел на озеро и проходил дважды мимо твоего дома; идя утром, я видел вашу машину; но, насколько я помнил, ты должна была ра-

ботать сегодня, я не зашел, хотя мы в тот день обсуждали и возможность сходить на наше гаспринское озеро. Идя обратно, я уже не увидел вашей машины.

Маша, я не могу без тебя. Я никогда не испытывал того, что испытал в тот день; тот, который был «только» позавчера. Внутри произошел какой-то тектонический сдвиг ценностей. Я увидел вечный свет, исходящий от тебя; я увидел то, что буду видеть там, в вечной жизни, уже непрерывно; а если не буду, то это будет не моя вечная жизнь, это будет чей-то ад, и этот кто-то – не будет мной; но что же я должен сделать, чтобы жуткий лик этого «кого-то» перестал заглядывать в меня из плоскости письменного стола; почему я все время отождествляю себя с ним; каждый раз, когда я делаю шаг в направлении тебя, это сопряжено с такой ужасной духовной борьбой, что я говорю себе: нет, я так не смогу. Но я уже сделал несколько шагов, я уже узнал тебя, и ты... меня... Если бы я мог молить тебя о маленьком шажке в мою сторону, просто – развернутом в мою сторону носке туфли. На невербальном языке это кое-что значит. Но я знаю, что надежды ложны, и мне самому придется делать еще шаг. И это так страшно – как будто все силы ада собираются потрясти тебе на голову огненные уголья. И этот выкрик ты не прочтешь прежде чем я, может, вручу его тебе. Теперь ты не выходишь в интернет. И мне придется опять идти искать тебя. А ощущение такое, что с каждым днем все позднее. Потом ты поедешь учиться, с 1 сентября, и будешь приезжать,

конечно, на выходные, и идти на службу в Ореанду, и я, если удастся купить электровелосипед, смогу тебя подвозить. Я бы катал тебя день и ночь, по всем дорогам этого мира, куда захочешь, я бы выполнил твои желания, самые непонятные, хотя их у тебя не может быть; ты не станешь никогда испытывать для развлечения чью-то любовь, «играть чувствами», хотя и написала один раз в ask-интернет-паблике, что «разбила двоим из них сердца – меня нужно бояться».

Но я знаю, почему ты так написала. Я знаю твою интонацию, твою улыбку, твое отношение ко всем вещам, я изучил все доступные мне источники о тебе тщательнее, чем востоковеды – шумерские библиотеки, а античники – мраморную крошку Акрополя. Я пишу это, роняя «скупые мужские слезы», а если честно – то несколько раз прерывался на подстывший к горлу ком. Потом я наберу этот текст – он довольно большой – но я постараюсь это сделать, чтобы выложить в интернете, в контакте. Хотя я знаю, что такой объем никто не будет читать; но, может, заглянут в середину и прочтут несколько интересующих их вещей. А ты не прочтешь, только, как я уже сказал, если я сам не вручу его тебе. И, видимо, я сделаю это. Мне просто некуда идти, кроме тебя, я вижу себя в вечности (я уже писал это), я заглядываю за эту грань, и там я вижу только твои глаза – и, как водится, вокруг рыхлое непроницаемое пространство облаков – но я не могу представить себе вечности без твоих глаз, я откажусь от нее, если даже мне ее предложат; я самому Богу скажу это, если

Он будет меня уговаривать: смирись, в царствии небесном все будут как ангелы; да, я знаю это, и я знаю, что мне для вечности достаточно не сводить с тебя глаз, или, повернувшись на несколько секунд, как я делал позавчера, удерживая фонтан восторга, снова обернуться и, скрывая этот восторг, опять сказать тебе что-то, опять услышать твой ответ, и идти куда-то с тобой опять, по райскому ли саду или по земным дорогам, которые все равно часть рая, как я убедился позавчера. Я чувствую, что не могу закончить эти записи; наверное, как и райские блаженства, они будут продолжаться в вечности, а если нет – то (опять я уже писал об этом) это будет не моя вечность; но почему-то все сошлось в точке, в которой я нахожусь сейчас, вне времени, и я чувствую некое успокоение, мир в душе, какой я чувствовал сегодня днем; в сознании, после треволнений накануне, было очень спокойно и тихо. Наверное, иногда я пишу сумбурно, но я смог сделать слепок и представляю его тебе, а завтра я сделаю еще один слепок, слепок души, и вылью форму по этому слепку, или по сегодняшнему, и буду вкладывать туда раскаленные буквы, или жидкие гипсовые буквы, или жидкую бронзу, и у меня будут получаться в любой день или твоя гипсовая статуэтка, или бронзовый роденовский образ, или боговдохновенные тексты, написанные на скрижалях памяти; каждый раз я буду наполнять эти формы, а когда их грани утратят рельефность, я сделаю новые. И так я проведу все оставшееся мне время, и может быть, не замечу, как перейду

в вечность за тем же занятием; это только в том случае, если подаренный мне Богом день с тобой окажется единственным источником памяти; но мне достаточно будет поглядеть на тебя не более двух минут, чтобы новые формы предстали готовыми к наполнению; я буду молить Бога только о двух минутах – эта вспышка озарит новую анфиладу памяти, я пойду по ней, разглядывая огромные залы и снимая с бесчисленных полок книги, в каждой из которых описаны твои движения и черты; скажи, неужели мне не хватит слов, чтобы твой образ, твой образ, который я доставал из киота сердца, из киота сердца, вечно, вечно находился перед глазами?

я шел по райскому саду
и видел красоты рая,
не чувствуя жажды иль глада,
дороги не разбирая

потом испытал погруженье
в холодные горные воды
и в сладостном изнеможенье
вдохнул разнотравье природы

и белый невидимый ангел
летел параллельно со мною
а милый задумчивый агнец
шел вместе дорогой одною

и я в твои ясные очи

заглядывал, словно в озера
на дне их – вселенские ночи
а прочее скрыто от взора

я пил эту ясную влагу
припавши губами сухими
моля даровать мне отвагу
изречь твое милое имя

пропеть его голосом нежным,
назвать им стоящую рядом,
среди склонов и рощиц безбрежных
вдыхая лесную прохладу

нас приняли мятные травы
в свое ароматное лоно
друг другу читали мы главы
сердец, красотой умиленных

кусочки дорожного хлеба,
запитые взятой водою
казались мне манною с неба —
единственной пищей святою

молил я в сердечной истоме
– дай что-нибудь выстрадать злое
тогда я останусь на склоне
на этом – навеки с тобою

но слышу в ответ – только тихо
колышутся рощи и травы,
как будто невидимы лики
осанну поют или славу

и слышу твой ангельский голос
и снова очей водоемы —
как будто в забытую волость
вернулся к родимому дому

Глава IX

Кое-что из жизни зубастых лягушек...

Я вспоминаю еще один невообразимый момент – когда мы вернулись с источника, мы вошли в «главный» дом, где посредине располагался большой общий трапезный стол; то есть, в трапезную; вошли мы туда не просто так, а «по благословению» кого-то – кажется, даже твоей мамы, которая спросила у женщин, хлопочущих на кухне, можно ли нам перекусить после долгой дороги до источника и обратно. И вот мы вдвоем оказались в этой тихой и безлюдной трапезной; вернее, одна женщина стояла перед образом и читала молитву; мы взяли тарелки и положили по две ложки холодной гречневой каши; сели на скамейку, она стояла слишком близко к столу, я попытался ее отодвинуть, но при попытке усесться меня постигла неудача – скамейка стала опрокидываться, ты тоже не смогла на ней удержаться; я передвинул скамейку в прежнее положение, но это было так близко, что ребра мои буквально упирались в край стола. И тем не менее я остался сидеть именно так; мы ели эти две ложки каши, горела лампада перед иконой, женщина читала молитвы, повернувшись к нам спиной, в трапезной царили полумрак и тишина, и снаружи доносились голоса. Потом мы вы-

шли сполоснуть тарелки, на которых остатков каши – прилипших гречинок – было едва ли не больше, чем мы съели. Ты осталась помогать «на кухне», а я именно в тот момент пошел пособить Сергею, твоему отцу; он сколачивал лестницу за достраиваемым зданием. Помню, что я отпилил доску по его указанию; и отметил про себя, что у него хороший глазомер – доска идеально легла на то место, где должна была быть ступенька. Затем мы снимали опалубку. Видимо, эта работа была не впервой, она двигалась неспешно и пошагово; мне, как энтузиасту, сразу было доверено проявить инициативу; я приставил лестницу к стене. Боже мой, я помню все передвижения этой лестницы у меня в руках – то к одному месту стены, то к другому, – так, как будто это случилось только что. Со мной произошел прустовский всплеск «утраченного времени», я как бы вернулся опять в тот день. Я взял гвоздодер и принялся отделять доски одну от другой. Посыпалась известка и крошки засохшего раствора. Опалубка как бы огибала угол дома; когда доски были разделены, та часть, что висела справа, неминуемо рухнула бы вниз, но была удержана приставленной лестницей. Спустившись вниз, я позволил доскам упасть, потом то же проделал и с другой стороны. Нужно было измерить рулеткой длину стены; оказалось три метра восемьдесят сантиметров. Теперь необходимо найти четыре арматурных прута этой длины. Один лежал в траве. Я поднял его и прислонил к стене. Поскольку никто не торопил, а больше прутьев в обозримом пространстве

не наблюдалось, я переключил внимание на плодовое дерево примерно в той области, где был найден первый прут. Слива или алыча; но плоды большие и причудливой формы. Она была мягкой и спелой, однако те ягоды, что валялись вокруг дерева, не годились. Я нашел потрепанное ведро и, залезши на дерево, набрал почти полное. Помыв сливы, я поставил их на кухне для общего пользования и – сделал то, что намеревался и для чего вообще взбирался в брюках и сандалиях на колючее и неудобное дерево – принес тебе «начатки плодов». Весь этот период времени – с момента нашего прихода и до общей трапезы где-то часов в пять, я, даже взясь с элементами строительства, ни на секунду не упускал из виду твоего присутствия. Даже когда я тебя не видел, я примерно предполагал, где ты находишься. И вот – я вспоминаю – ты стояла и читала молитвы перед иконой, и у меня в руках были эти несколько вымытых слив; ты дочитываешь и закрываешь молитвослов и поворачиваешься ко мне, и я протягиваю тебе эти сливы. Потом, в какой-то момент, ты пошла «погулять»; ты пересекла маленький пятачок, где разворачивались машины, и пошла вверх, к церкви, туда, куда мы утром шли на источник. Потом ты вернулась, но очень скоро ушла опять – теперь в другом направлении. Через некоторый период, решив, что времени прошло достаточно, чтобы «проявить беспокойство», я, поскольку не был так уж необходимо занят, пошел тебя искать. Выйдя на дорогу – грунтовку с глубокими рытвинами, дорогу, по которой мы приехали

сюда, которая огибала монастырь и соединяла его с внешним миром, я поднялся вверх до «официального» входа в обитель – ворот и ограды у церкви, уже почти достроенной. Тут я будто вернулся – после монастырской – к мирской жизни; я оказался на развилке дорог; у ограды стояли два велосипеда; люди, приехавшие на них, просто путешествовали и знакомились с достопримечательностями. Они сидели под деревом, их голоса звучали буднично и приятно в этом жарком воздухе. Увидев, что тебя нигде нет, я повернул обратно. И, спускаясь по той же дороге, различил вдали фигуру. Не совсем веря еще, стал приближаться, и где-то метров за сто уже наверняка понял – ты! Ты шла навстречу, и, я помню, не смотрела в мою сторону; мне показалось, что ты приняла меня за прохожего; однако, когда я уже приблизился к тебе, ты никак не выказала внезапного удивления, из чего я заключаю, что тебе было почти все равно, кто куда на поиски кого и зачем отправился. Ты, кажется, вынимала колючки из одежды; видимо, попытавшись пробраться сквозь густые заросли. Я вспомнил подобный случай из своей краеведческой практики, когда заросли оказывались гуще, чем представлялось вначале. Мы посмеялись. А еще – смешно было, когда шли обратно с источника, и я обнаружил желание искупаться в озере, кстати, единственном, что в тот день попало в кадр моего телефона. Ты сказала, что я могу (было еще довольно рано) пойти сюда искупаться, когда пожелаю. Будто я взял и пошел без тебя. И ты так благочестиво предупреди-

ла меня (естественно, под влиянием только что испытанного святого омовения в источнике) – ты предупредила, что в озере, возможно, вода не такая чистая, и даже – о ужас! – здесь могут водиться лягушки. На что ничего другого не оставалось сказать, что, конечно, лягушки – это ужасно, и недопустимо после святых вод, – но, пожалуй, все-таки искупаться возможно, если это не лягушки-пираньи, которые в две минуты оставляют от живого человека скелет. Конечно, очень возможен был вариант, что транспортный самолет из Бразилии, который часто летает в воздушном пространстве Бахчисарайского района, снизился в один из недавних дней над этим озером и сбросил туда партию зубастых лягушек. Но, при всей большой вероятности такого оборота событий, существовало и альтернативное предположение – что никаких лягушек не завозилось!

Глава X

Несколько раз я уже виделся с тобой. Вчера (Боже, это было только вчера, неужели?! Кажется, вечность уже прошла. Написав это, вернее, не дописав еще, я осознал чудовищную банальность данной мысли) – вчера была пятница, и Успение?! Да, как раз во время службы утром мне пришла в голову спасительная мысль – я зайду поздравить тебя с праздником. До этого, в течение недели пытаюсь с тобой встретиться, я не мог найти достаточно веского повода. Но в праздник открыты все двери. Все равно мне было бы боязно. Хотя теперь уже не так страшно, как раньше. Нет, страшно все равно. Приехав домой после службы, я даже порадовался тому, что у меня совсем мало времени; цейтнот ускоряет действия человека, заставляет его мыслить быстро, цельными и сжатыми блоками и схемами. Мысленно я уже ехал на службу к двум часам. Приехав домой, я сел за ноутбук и распечатал тексты, которые накануне еще проиллюстрировал твоими фотографиями. И правильно сделал. Тексты – это было нечто, к чему ты проявила настоящее внимание. Я подъехал к твоему дому, бросил велосипед у ограды и стремительно, мимо молодого человека с рюкзаком, на скамейке, которого я автоматически записал в твои поклонники, дожидаясь именно тебя, поднялся по ступенькам к твоей двери на первом этаже. Хорошо, что этаж – первый, иначе каждый

лестничный пролет этажом выше превращался бы в очередной круг чистилища. Я постучался, и внутри что-то послышалось. Через некоторое время я стал склоняться к тому, что это мне действительно послышалось. Машина рядом, но, может, вы в праздник решили навестить соседей. Я постучал еще раз – четыре удара, помню, в стуче проскользнула некоторая настойчивость. И, может, ты откликнулась именно на эту настойчивость. Ты открыла дверь. Я, ожидавший увидеть любого из вашей семьи, сразу добился цели – я увидел тебя. Но, конечно, я не подал виду – выглядел я, наверное, торопливо; я поздравил тебя с праздником, ты сказала, что все спят; незадолго до этого я съехал на велосипеде в Нижнюю Ореанду, где ты поешь у о. Николая Доненко. Действие это было совершенно спонтанным и, возможно, это было одно из наилучших решений. Я просто выехал за ворота Свитского корпуса в Ливадии и покатил к Ореанде. Приехав, я обнаружил традиционное, за большими столами на церковном дворе застолье, фотографии которого в другие праздники, сделанные Володей Евдокимовым, я тысячу раз видел в фэйсбуке. Я вошел в храм, поклонился перед плащаницей, но сделал это еще и потому, что подойти сразу к столам с таким множеством народа было нелегко. Потом я увидел нескольких человек вокруг о. Николая Доненко и направился к нему. Я взял благословение, мы поздоровались. Я поздравил его с праздником и спросил, нет ли кого из хора. Он указал мне и предложил сесть за стол. Я отказался;

наверное, вид у меня был довольно взволнованный; мне показалось, что это заметили. Потом я подошел к Ане, регенту в Ореанде. Правда, сначала я спросил, есть ли Юра Остапчук, который также поет здесь; Юру я давно знаю еще по педагогическому нашему институту. Юра, возможно, и был – стояла его бежевая «Нива». У Ани я спросил про тебя. Я спросил, была ли Маша Н. И, веришь ли, очень удивился, когда сказали, что – да. Они уже уехали. Я спросил – с семьей? – Да. – Почему я удивился... После недели «поисков» я впал в состояние, когда все происшедшие со мной события стали казаться чем-то ненастоящим, призрачным, как сновидение. Мне стало казаться одновременно, что это все было со мной очень давно; и когда я узнал, что ты и твоя семья были здесь, фактически, не больше часа назад (то есть, в то время, когда я в Ливадии, тоже ел и пил на попразднственной трапезе), мне показалось, что вы будто материализовались, выплыли из воздуха, как булгаковские персонажи. Спросив о тебе и получив ответ, я сразу уехал. Не знаю, был ли мой вопрос о тебе каким-то образом истолкован; но мое появление там было точно неожиданным, так же как и мои вопросы. Впрочем, кому в конечном счете интересны дела сердечные, кроме тех, кого это касается напрямую.

Я выехал из Ореанды и долго поднимался на велосипеде в гору; я подсчитал оставшееся время – выходило совсем немного; после того как я приеду домой, у меня будет всего несколько минут. На самом деле, как оказалось, и этих

нескольких минут было слишком. Наше «общение» с тобой длилось, по-моему, не больше минуты. Я хотел вручить тебе коробку с конфетами, которые купил еще в воскресенье, ты стала отказываться, и я изобразил такое страдание и горечь, что ты передумала. Коробка перешла из рук в руки. А вот тексты ты взяла сразу и с интересом. Кто-то был с тобою рядом из детей. Этот ребенок был довольно заинтересован тем, что происходит – все, что я успел заметить. Весь разговор происходил полупрошепотом. – «Все спят» – было в ответ на мое поздравление и желание видеть «папу и маму». В этот же момент я сопоставил длинную праздничную службу, многочасовое стояние, трапезу и жаркий день; и разморенный бег «жигулей» по склонам Крымских гор. Я попрощался с тобой и с легким сердцем двинулся к велосипеду. Парня на скамейке уже не было. Мне показалось, что он ушел с кем-то – с другом, так что из категории твоих поклонников он автоматически выпал. Я сел на велосипед и покатил по горке мимо детской площадки. Потом повернул, намереваясь выехать на Севастопольское шоссе и направиться уже на службу. Как вдруг раздался хрустальный звон, будто джинн выдернул волосинку из своей бороды и исполнил мое заветное желание. Это пришло сообщение от тебя с поздравлением. Тут я остановился и почти дал волю слезам. И написал в ответ сообщение, где позволил себе назвать тебя неким ласковым словом, при этом попросив заранее прощения. Еще я написал, как мне стало легко на душе после

этого блиц-свидания. В ответ ты попросила не называть тебя так, как я назвал. Это сообщение я получил уже чуть дальше, у «Розы Люксембург», кажется. Я остановился и «прислонился к стене», образно говоря. Что-то кольнуло, и в это образовавшееся отверстие вышли все пузырьки счастья. Я медленно обдумал твои слова. «Почему с большой буквы это слово...»? – вертелось у меня в голове....

...Подъезжая к больничному храму, я уже давным-давно собрал все вылетевшие было разноцветные шарики блаженства. В какой-то момент, я не помню – на службе или между ними – пришло большое сообщение от тебя. (... ..)

Здесь я сделаю небольшое отступление. Незаметно вчерашний день в восприятии совместился с сегодняшним. Сегодня я, доехав до Гаспры на велосипеде (после субботней службы), спустился в Кореиз, чтобы снять деньги с карточки. Стал подниматься обратно. На повороте за остановкой «Ясная поляна» у меня мелькнула мысль подняться по ступенькам с велосипедом, но потом я проехал мимо, решив преодолеть «верхом» этот участок дороги. И в этот момент я услышал оклик: «Илья!» Это была ты, ты спускалась по той самой лестнице, по которой я хотел подняться, ты была с кем-то – вначале показалось, что с мамой, и приветствие выкатилось на уста; но это была, наверное, твоя сестра; она мельком взглянула в мою сторону, мне показалось – остро и не без подозрительности. Я повернулся в твою сторону – я был с велосипедом на другой стороне дороги; я как бы взглядом

восторженно-умоляюще спросил тебя – можно ли подойти? И ты разрешила. Я не подошел – меня выбросила перед тобой на берег волна восторга. Я спросил, как тебе мои вещи? «Неожиданно», – сказала ты, имея в виду прозаические куски. Это было сказано не без некоторой дрожи в голосе, и я понял, что то, что мне казалось сырым (и таковым являлось), и то, что я спешно редактировал и прореживал перед тем как распечатать и отдать тебе – это достигло твоего внутреннего слуха. Про стихотворения ты сказала, что «образно». Больше ни о чем мы не говорили; ах, да, я еще раз извинился за «солнышко» и просил передать родителям поздравление; ты его и так уже передала вчера. Мы простились (наверное, ты шла на море с сестрой), и я на этой же волне восторга въехал в магазин, купил кофе и хотел чего-нибудь пожелать хорошему продавщице; но не нашел слов. На гребне этой волны я пребывал часа полтора – потом пришло большое сообщение от тебя. Начало я перескажу, а дальше – по этическим соображениям... тоже перескажу, близко к тексту. А вообще – это очень лестный для меня отзыв, и я даже укрепил бы его, как диплом, в рамке на стене. Ты написала, что «уже год встречаешься с одним человеком, и мы друг друга любим». Ты благодарила за «проникнутые светом стихи и прозу». И как бы советовала переориентировать этот мой «талант» на что-то более «полезное, плодотворное» – например, исторический роман или книгу; ты, наверное, не знаешь, что «всякое искусство совершенно бесполезно» – из-

речение Уайльда. Горькое и единственное, что стоит знать об искусстве. Но текст твоего сообщения очень широк и полон... да, он полон этого самого чувства – любви; я даже удивился сейчас, когда, придумывая, как бы повернуть к первому продолжению, вдруг обнаружил, что ты пишешь с любовью. Наша ошибка в том, что мы конкретизируем любовь и отсылаем ее к определенному персонажу. Чтобы снизить высокий ее дух. Но любовь появляется и исчезает в наших словах и действиях. Поймать ее «за хвост» и оставить в каком-то определенном месте – совершенно невозможно, «дышит где хочет». Ты пишешь с любовью, потому что в твоём ответе с максимальной полнотой выражено участие. Ты отделяешь от себя максимум того, что можешь дать; и получается даже больше того, что мне нужно... а я и не знаю, что мне нужно, кроме совершенно патологического желания видеть тебя хотя бы изредка. Ты говоришь, что ничем не сможешь ответить... но ты уже ответила; и этот ответ оказывает такое странное влияние, что я, как ни пытаюсь, не могу сейчас закрыться на ключ прежнего спокойствия; не могу уйти в затвор прежнего разрыва с миром, а, по ощущениям, встречаю какую-то боль и неприятие открыто, хотя с самого утра при таком обороте событий начинаешь испытывать «тяжесть бытия». Ты называешь мое проявленное внимание к тебе «прекрасным чувством», и я чувствую, что – да, оно прекрасно – я это говорю не в похвалу себе, а констатируя природу того источника, откуда на меня исходит этот свет.

Ведь я «не от себя» пришел к тебе. Это чувство вело меня, а откуда оно берется, я предпочитаю не думать. Ты говоришь о «таланте, который можно пустить в более плодотворное русло» – но где оно, это русло, кроме того, в какое я его пускаю сейчас; и откуда может взяться бо́льшая, чем сейчас, плодотворность – если все, что я каким-то образом выливаю в тексты и мысли, все направлено в одну сторону и подчинено одному гигантскому... замыслу, что ли. Да, у меня есть ощущение, что замысел этот безнадежен... в таком случае, смысл его – в безнадежности, как смысл любви – в безысходности, в невозможности соединиться; смысл – в трагическом «неслиянии» двух чем-то родственных сущностей. Тогда «любовь» продолжается бесконечно, в чем, собственно, и цель бытия. Вообще, анализируя твое сообщение, можно написать отдельный очерк; сейчас я редактирую этот текст потому еще, что меня попрекнули тем, что я вставляю целиком «личные» сообщения. Если ты дочитала до этого места, я объясню, почему я так делаю. Это не душевный эксгибиционизм (значение этого слова неважно сейчас), это требование художественной «правды», так, как я ее понимаю, потому что не претендую на абсолютную верность знания этого, но что-то, властное, как форма, диктующая стихотворение, подсказывает, как нужно сделать. Целиком вставить личное сообщение – это не обнажить то, что не предназначено для других. Это передать всю полноту переживаний, сообщить ее художественному, подчеркиваю, тексту, каковым являет-

ся все, что здесь есть. Одна из странностей подлинно творческого чего-то – процесса, импульса – в том, что невозможно предугадать средства и способы, и положения во времени и пространстве того, что ищет выход. Я вознамерился «смягчить» данный текст – тем, что выбросил из него твое сообщение «слово в слово», – и чувствую, что, истолковывая твое сообщение, опять напал на какую-то «жилу» мыслей, переживаний, которым нет конца. Нет конца – потому что твой ответ настолько «космичен», что мне будет этого достаточно, чтобы существовать в новых границах. Ты не «отказала» мне в чем-то – ты включила меня в свою орбиту. И я надеюсь, ты не «обидишься» на меня в житейском смысле, на то, что я использую «цитаты из личного»; единственное назначение интернета – строить или достраивать некий психологический мост между людьми, добавлять к четкому контуру реальности пласт воображения, которое, может, и является по-настоящему ценным человеческим свойством.

Это сообщение, я повторяю, можно повесить в рамке на стену, как почётную грамоту. С примерно таким сопровождением: Награждается студент II-го курса Института Чувственности – И.В. за активное участие в практической деятельности и проделанную теоретическую работу». Больше, конечно, за теоретическую. Может быть, горькая ирония начинает окрашивать мой текст в черный цвет, хотя я и так пишу гелевой черной ручкой. Я тут же написал тебе довольно большой ответ, но твой телефон не «проглотил»

его, а по частям – я начал скидывать, но не закончил. Приведу этот ответ здесь: «Маша, мне достаточно того, что ты есть на свете. Вот честное слово. Хотя видеть тебя чаще было бы огромным счастьем, но я с самого начала и не рассчитывал на «успех», что ли. И одновременно с этим надеялся. И не сам человек выбирает, что ему писать – роман или стихи – но, скорее, творческий импульс выбирает человека и ведет его. Мне немного (довольно-таки; весьма; невероятно; в высшей степени) больно было прочесть то, что ты написала, но... здесь я должен написать, что хочу, чтобы ты была счастлива. И я задумался, не слишком ли я не считаюсь с реальным положением вещей. Прихожу без спроса, рассказываю о «чувстве». Но – прости, я тебе признаюсь – мне страшно было все это делать, я делал это, когда другого ничего не оставалось. Я как бы спрашивал у обстоятельств – могу ли я поступить иначе. И ответом мне было – действуй. Мне бы очень хотелось с тобой поговорить, потому что очень много внутри есть к тебе желающего быть высказанным. Но мне достаточно того, что ты есть, и есть эти сообщения от тебя, и сегодняшняя встреча. И день в монастыре».

паломничество к дому твоему
ногами деревянными... в четыре
на первом этаже, в твоей квартире
трель жалюзи скрывает окон тьму

четыре ночи... двор соседний спит,

колеса спят, ограды и бордюры
сквозь облаков причудливых фигуры
по небу проплывает лунный кит

а лунный кот, топорща дыбом шерсть
дорогу мне к дверям перебегает...
но, суеверьями пренебрегая,
стою, светлеет небо, скоро шесть...

стремлюсь я мыслью, сердцем и душой
туда, за жалюзи, за все препоны
мы все проникнуть за ограду склонны
запретных рощ, нам скучен путь домой

и ожиданью что-то помогло —
умывшись непроглоченной слезою,
я прикоснулся трепетной рукою
как бы к тебе, — погладивши стекло...

Глава XI

Где-то в августе... (до поездки)

Перебирая занятия, которыми можно заполнить остаток дня, я отследил очень простую мысль – даже занявшись чем-нибудь другим, я буду нетерпеливо стремиться к тому моменту, когда можно будет «поговорить» с тобой, то есть, написать тебе – наверное, это все-таки письмо – и попробовать развеять эту боль – боль, которая, конечно, не так выматывает, как зубная; но, с другой стороны, поскольку это психическая, душевная боль – она в большей степени поддаётся осмыслению, чем боль физическая; и в этом осмыслении проскальзывают элементы такой тоски, такого беспросветного отсутствия надежды, что чуть ли не восклицаешь – зачем мне все это? а потом думаешь – ну, сам же ввязался, и на этом фоне – не надо, не надо было ввязываться, разве тебе плохо жилось – и т. д.

Я шел сейчас темными улочками Гаспры, в одном из дворов играли дети; они кричали, шумели, ссорились – видимо, игра была всерьез; и я вдруг представил, что ты находишься среди этих детей, что эти играющие дети – твоё собственное детство, которое, сквозь призму моего восприятия, случилось совсем недавно – каких-нибудь десять лет назад. Мы тогда только переехали в Гаспру. Эти играющие дети освещают

тили мне Гаспру, как некий кинофильм; появилось ощущение сюжета, то есть, две таких исторических точки – детство и твое нынешнее состояние – дали прямую линию, идущую из глубин памяти. Идя дальше, я много чего себе представлял – я представлял твой дом и подходы к нему; хотя я и не знаю, на какой улице в каком районе ты живешь; так, имею общее понятие. Я представлял себе якобы грядущие встречи, разговоры, встречи с... теми, кто составляет круг прописанных в одном ареале; во всем этом меня удивляла и продолжает удивлять некая неподвижность моей собственной планеты. Я легко представляю себе твое детство, взросление и постепенное и естественное вхождение в так называемую «взрослую» жизнь. Я представляю себе непосредственность и восторг, с какими ты воспринимала и воспринимаешь события жизни, так называемые «знаковые» события, «поворотный» (момент) – поступление, приезд на каникулы, или даже экскурсия в мастерскую резьбы по дереву и общение с замечательным, тонким, умным мастером-резчиком. А потом вглядываюсь в себя и понимаю, что выпадаю. Я выпадаю из этой мозаики, как плохо приклеенная керамическая плитка – рраз – и я упал, и разбился на кусочки. Вечер сегодня, как и все другие в течение месяца, жаркий. Возвращаясь обратно из Кореиза, я свернул на дорогу, которая, как мне кажется, близко проходит к месту твоего обитания. На оградительной стене я увидел разлегшегося кота. Он не стал убегать, я погладил его, затем отхватил зубами кусок

купленной колбасы и угостил зверя. Прошла мимо девушка. Естественно, мне показалось, что это ты. Сразу же, глядя ей вслед, я определил приметы, которые исключали тебя в этом облике. Но все равно мне не по себе. Мне все время кажется, что, увидев тебя, я тебя не узнаю. Вернее, первоначальный страх – во́все не заметить тебя, так как ты скользишь стремительно, и теперь, наверное, заметив меня, постараешься как можно скорее скрыться с глаз. А не узнать тебя боюсь я, так как, обращаясь каждый вечер к источнику своей тоски и изливая на бумагу опыт сознания, я придумываю и дополняю какой-то образ – но он, может, все менее становится на тебя похож; он списан с тебя, но, так как образы имеют свойство жить своей жизнью, то, возможно, при таком обороте событий через какое-то время появится фигура, напоминающая тебя лишь внешними психологическими чертами. Вот почему я боюсь не узнать тебя. Несмотря на это, я все время представляю встречу. И заранее готовлюсь к худшему. Ты быстро произнесешь приветствие и пройдешь мимо, и будешь стремительно удаляться. Но иногда я, разнежившись, вдруг представляю, что в глазах твоих зажегся интерес ко мне. Ты остановилась и слушаешь меня. Странно, что подобные вещи, которые я недавно еще воспринимал совершенно спокойно, теперь стали для меня горсткой сакральных воспоминаний. Почему у нас – мне недавно пришла в голову эта мысль, я ее вспомнил и подумал, что она может быть уместна сейчас – любовь считается болезнью того, кто лю-

бит, и некоей данью, которую любящий должен выплачивать (и выплакивать) объекту любви. Наблюдатели, представляя себе любовь, обычно считают, что человек впал в зависимость от другого, и поэтому он подлежит осуждению. Все равно как если бы он пристрастился к казино или алкоголю. И довод – мой собственный довод, что любовь – это прежде всего дар тому, кто любит, это необычайное расширение сознания, вбирание, впитывание в себя с новой силой потускневших красок жизни – кажется мне самому, на фоне моей зависимости, моего стремления увидеть человека хотя бы мельком – кажется неубедительным и шатким. Что, однако, подтверждает ранее мною «открытую» горькую истину – любовь неудобна, нежелательна и курьезна в этом мире; она не вписывается ни в какие рамки, она безнадежна – и именно поэтому, пробуя ее на зуб, понимаешь, что золото настоящее. Хотел написать вначале – серебро, но потом подумал, что такая субстанция заслуживает называться именем самого ценного металла.

Глава XII

Я часто представляю себе моменты, когда (если) вновь увижу тебя. Может, это произойдет через месяц, может... и здесь я сделал паузу, чтобы собраться с мыслями, так как напрашивается продолжение – «никогда». С точки зрения обыденности это маловероятно – мы где-нибудь да пересечемся, вопрос только – когда (через сколько световых лет) и в каком качестве. Я все время вспоминаю фильм Кислевского из цикла «Декалог», новелла шестая. Жуткая, обрубающая все нити фраза, которую произносит герой в конце фильма – «я за вами больше не подглядываю». Любовь началась – с подглядывания в окно соседнего дома. Закончилась циничным срыванием покровов с ее обнаженного, незащищенного тела. Тела «любви», не главной героини. И я боюсь – на самом деле – за тебя: ты вдруг услышишь – «я за вами больше не подглядываю»; «я вас [больше] не люблю». Мне страшно, потому что я представляю – услышать женщине такие слова – все равно что рухнуть в пропасть. И падение это не заканчивается. Или, может, я сгущаю краски... Но речь идет не о том, прекратится ли чувство к тебе; речь о расположении; и ты, выказав мне свое расположение, обнаружила не меньшее чувство. Есть в тебе странная цельность, которая, кажется, у других отсутствует. Поэтому совершенно не привлекают многие и многие – вроде бравирующие этими

пресловутыми козырями – молодостью и красотой, но представляющие собой некий продукт саморекламы; они настойчиво предлагают себя и тем менее вызывают желание приблизиться. Твоя цельность – это нечто умопомрачительное, в прямом почти смысле; я, думая о тебе, так или иначе возвращаясь к тебе, как в домашнюю гавань после долгих путешествий, не могу описать некоторые моменты этой работы сознания кроме как словом «затемнение». Как будто слишком яркое солнце ослепило на мгновение, и глаза, испытав ожог, постепенно возвращаются в привычный режим, находясь, однако, теперь полностью во власти этой вспышки. Я пытаюсь найти / вернуться к источникам, откуда я бы мог получить утешение; я заглядываю в книги, на страницы, где чувствуешь себя «как дома», пересматриваю отдельные кадры некоторых фильмов, разглядываю картины или декорации компьютерных квестов; я ищу, где бы мне напиться, как в тот день на источнике; но напиться нéоткуда – главный источник – ты; а тебя нет; это как нет дождя – и земля высыхает и чернеет; а засуха – она страшна прежде всего своей неопределенностью; ты не знаешь, сколько она продлится; ты пытаешься вспомнить пророчество – на сколько там заключил небеса жестокий Илия-пророк – на три? на семь лет? Семь лет в Египте во времена Иосифа был страшный неурожай. Но это было предсказано заранее. И я думаю, что жители, зная, сколько им еще терпеть, находились в более удачном положении; и к концу шестого, а затем и седьмого года

они, представляю я, уже всюю праздновали канун окончания этого срока. Мне остается праздновать только предполагаемые даты. Возможно, это будет день престольного праздника в нашей церкви; и я, понимая, что общение сведется к небольшому периоду, я все равно понимаю – этого будет достаточно, чтобы воскреснуть. А сейчас я чувствую, будто все внутри как почернело, иссохлось, и душевные силы напряжены – только бы вытерпеть, выстоять эту неопределенность срока. Может быть, тебе представляется странной такая реакция; хотя, поскольку ты все-все понимаешь, ты интуитивно распознаешь и суть происходящего. Но что ты можешь сказать или сделать, кроме участливого: «Я ничем не могу вам ответить»... Я стал это все описывать и вдруг снова почувствовал себя неким просящим «свежей крови» вампиром; будто я изливаю тебе на голову переживания, которые следовало бы удерживать в себе. Странно – раньше, в момент, когда я только-только стал представлять себе возможность встречи с тобой – и «объяснения», я будто напал на некую жилу бесчисленных ассоциаций. Картины сменялись картинами, и весь этот калейдоскоп бушевал вокруг тебя; впечатления памяти будто бы выскальзывали и сыпались разноцветным бисером. Теперь же, узнав, что такое на самом деле общение с тобой, я обнаружил свои желания «обедневшими»; мне только того и надо, чтобы просто смотреть на тебя с расстояния в метр-полтора. Просто все другое – несопоставимо. Я могу придумать прибрежный пейзаж, пустынный

песчаный пляж, лодку, выброшенную на берег, тебя, изнемогающую от жажды, потерпевшую кораблекрушение. Ты лежишь в отдалении от лодки, волосы спутаны и в них – водоросли; ты чудом спаслась... На берег выходят люди, они переговариваются; они замечают лодку, а затем тебя. Это юноша и девушка, по виду – брат и сестра; им по двадцать-двадцать два года. Они с громкими восклицаниями приближаются к тебе; одежды их – из хорошей ткани, у юноши на поясе – кинжал в инкрустированных золотом ножнах. Очевидно, это не простые рыбаки; это дети графа N., проводящие каникулы в прибрежном замке своего отца, провинции... тоже N. Я сейчас затрудняюсь представить, в какой конкретно области расположить географию сего приключения; это, конечно, Средиземноморье, но какой регион – затрудняюсь... может, Адриатика – Италия или противоположный берег – бывшая Далмация, Дубровник, и чуть севернее – Пиран, где теперь территория Словении, и где мой брат сейчас катает туристов на сегвеях и велосипедах по солнечной и уютной стране. Я останавливаюсь еще и потому, что слишком явно чувствую влияние байроновского «Дон-Жуана»; там героя выбросило на греческие Киклады. Но я могу продолжить – мне же «нравится писать»?!. Дети графа N., Регина и Ансельмо, о чем-то оживленно спорят друг с другом, стоя рядом с неподвижным твоим телом, распростертым на песке. Потом Ансельмо переворачивает тебя на спину. Твое лицо мертвенно-бледно, оно испачкано песком и грязью, гла-

за закрыты... Ансельмо начинает приводить тебя в чувство; он скрещивает твои руки и начинает рывками давить тебе на грудь; девушка стоит рядом и, кажется, советует, чтобы брат ее делал движения энергичнее; Ансельмо со всей решительностью в девятый или десятый раз прилагает усилие, и внезапно проглоченная вода выплескивается из легких, ты с натугой кашляешь и приходишь в чувство. Спазмы продолжают некоторое время; ты, согнувшись в три погибели и перевернувшись на живот, выплевываешь воду; Ансельмо и его сестра поддерживают тебя... вообще-то описываемые события маловероятны, поскольку, если уж человек утонул и его тело выбросило на берег, то никакими подобными мерами его воскресить не удастся (вспомним бедного Шелли); а если потерпевший просто хлебнул воды и доплыл до берега, и в изнеможении лег на песок, то он уже должен был прийти в себя, самостоятельно; ну да ладно... Итак, ты, отплевываясь, возвращаешься к жизни; на тебе – зеленое бархатное платье, потяжелевшее от морской воды; несмотря на перенесенные бедствия, заметно, что ты одета богато, и Регина с Ансельмо начинают гадать о твоей судьбе. К поясу у тебя приторочена маленькая сумочка из выделанной кожи игуаны; Регина, открывши сумочку, находит там несколько слипшихся листков письма и изящный медальон, на верхней половине которого золотом выгравирована буква R в обрамлении вензелей. Ты приходишь в себя и, все еще дрожа от спазмов, садишься на песок, не в силах подняться на ноги...

какая в небе вечером луна?
такая же, как ты – неразличима
за облаком? за темным слоем грима,
иль вовсе в фазе нулевой она...

о чем деревья на ветру шумят?
о том ли, что в раскидистые кроны
ты обратила взгляд свой благосклонный
лет больше трех иль четырех назад?

о чем грустит кошачье существо,
прохожих провожая вереницы?
о том, что легкая твоя десница
давным-давно не гладила его...

какою грустью тешат фонари
свое мерцанье тусклое во мраке?
они скорбят, что буквенные знаки
под ними не читаешь до зари...

а в чем печаль распахнутых дверей
подъездов, магазинов, консумерий?
они все ждут, пространство скрипом меря,
чтоб ты в проемы их вошла скорей

и чем, уж если что, омрачена
душа-ладья на глади монитора?
что в паруса отплытья-разговора

НЕ ЛОВИТ ВЕТЕР СЛОВ ТВОИХ ОНА...

Глава XIII

Вчера вечером я писал о тебе что-то, пока сон не стал одолевать меня; процесс состоит из воспоминаний, которые, как лианы, цепляются за ветви того ствола, которой своей массивной толщиной уходит в божественную пышную крону – день или дни, когда я виделся с тобой, тот день, который мы практически провели вместе. Возможно и, скорее всего, недоумение будет посещать тебя всякий раз, если ты вообще возьмешься за чтение этих бесконечных излияний – недоумение от того, что я так возвеличиваю общение с тобой; хотя, я думаю, тебе это понятно; может, после чтения моего непосредственного, написанного через день, воспоминания о монастыре; однако твои личные устремления далеки от моего существования – «холодно, холодно» – хочется вскричать, как в прятках, когда тебя ищут; но ищут вовсе не тебя, ищут вон того паренька, который спрятался за деревом в дальнем конце двора, а ты стоишь, укрылся за вот этой вот грудой досок и думаешь – сейчас она пойдет искать... Но так и остался стоять за досками, спрятавшись, скорее, от себя самого и от своего воображения; а немного спустя побрел из двора восвояси... Я не дописал вчера то, что собирался, хотя у меня было о чём писать; я очень утомился и бросился на кровать; однако захватил с собой ноутбук и еще несколько минут что-то смотрел тяжелыми глазами. Я не стал сей-

час продолжать то, что писал; предубеждение против смены обстановки, которая в данный момент другая – я на работе; вообще с моментом продолжения пишимого дело обстоит странно – казалось бы, можно продолжать начатое, но не хочется этого делать... Мое представление о том, что я пишу, я уже описывал – это слепок, слепок с действительности, с ее течения, ты как будто прикладываешь к барельефу памяти, огромному, длинному, разветвляющемуся барельефу памяти – прикладываешь что-то податливое, как пластилин; и то, что отпечаталось на этом рулоне пластилина – и есть текст; если задать мне самый простой и логичный, здравый вопрос – зачем я это делаю; и разветвить его так же логично – зачем я это делаю после того как ты «как бы отказала» мне в общении (хотя, я уже об этом писал, это нельзя назвать отказом; потому что, как ты помнишь, я не высказал ни одного желания, свойственного стремлению нормального человека продолжать общение с предметом своего восхищения; хотя у меня мелькнула такая мысль – еще в монастыре: сказать старцу – «благословите жениться на...», но, в то же время, после «второго захода» к нему, кажется, ты спросила меня о чем-то, имевшем отношение к нашему разговору с ним, и я, отвечая тебе, так беззаботно сказал: «я не хочу жениться»; а может, для тебя это было как раз важно... но мне показалось, что после этого ответа ты как бы убедилась в некоторой «возвышенности» моих чувств, и, может быть, именно это тебя и не устроило...) Но мне хотелось бы все время

находиться там, где ты; однако я еще знаю, что длительный опыт совместного проживания оборачивается развоплощением тайны и притяжения.

Я хотел продолжить о том, что для меня эти записи: способ «не заблудиться» в пространстве. Посмотри, как устроена наша жизнь, наше изо дня в день бытие; единственным моментом сходства между вчера и сегодня является то, что день начинается с рассвета, с подъёма, с перебирания каких-то грядущих действий; мы кого-то встречаем на пути, выполняем то, к чему обязывает долг, и предаемся в часы досуга неким привлекательным действиям и развлечениям. Но, может быть, у нас есть какая-нибудь цель; большая или маленькая, возвышенная или такая, о которой удобно говорить – например, приобрести автомобиль; и каждый понимающе кивнет головой. Или эта цель далеко впереди, она висит, как солнце над горизонтом, никогда не приближаясь, но именно потому что она такая недостижимая, мы к ней стремимся. Но наши действия безличны. Ты взмахиваешь рукой, проводя по волосам, и этот твой жест пропадает. Ты можешь провести еще раз, можешь заплести волосы в косу или разделить на две косички и завязать бантиками. Проходит некоторое время – тебя видят с некоей потребовавшей внимания и усилий прической – твоими стараниями восхищаются, говорят какие-то слова – и слова эти остаются в памяти; на завтра прическа исчезает – ты переключаешься на что-то новое; скажем, ты разучиваешь сложное фортепи-

анное произведение, какой-нибудь шопеновский ноктюрн; ты читаешь по нотам аккорды, потом пытаешься понять эти звуки и как-то синтерпретировать их, понять, что он в них вложил; а он, наверное, ничего не вкладывал, он был так внутренне устроен, что преподаватель его восклицал: «еще, еще...», когда Шопен начинал импровизировать. Вернемся к записям. Попытка занесения на бумагу наших переживаний – в сущности, гигантского масштаба замысел о бессмертии. Вот как ты представляешь себе бессмертие? Правильно, бесконечная жизнь, свободная прежде всего от мысли о том, что она конечна...

Утро приносит что-то. Вчера был сильный дождь; когда выглядываешь вечером из окна в дождь, видишь эти потоки воды, покрывающие мало того что поверхность земли, так еще и вертикальные плоскости и само пространство, где видны эти мощные струи, несущиеся к земле вниз; когда наблюдаешь за этой картиной, представляется, что, по крайней мере, мир уже не будет прежним. И я вчера вечером, глядя на дождь в окно, думал, что все изменится; и больше всего мне бы хотелось, чтобы ты... И опять я задумался: кто ты? кто ты для меня? как будто все вошло в «прежнее» русло (а каким оно было?) но мысли мои обращаются к тебе; вот сегодня я, если утром будет служба, после нее пойду в лес; навещу место, где посадил кизил из косточек тех ягод, что мы рвали в монастыре. Потом пойду на озеро, прочитаю акафист. И, наверное, каждый последующий раз, как я бу-

ду проделывать эти действия, наполнение их будет тускнеть; память станет удаляться от событий; и мне снова станет все равно; мне станет все-все равно; я, может, погружусь в какую-нибудь виртуальную иллюзию и влезу туда, как в кроличью нору; и полечу вверх тормашками, и меня уже будет не вытащить. Вчера я начал размышлять как бы в ответ тебе, зачем я делаю столько записей – очень просто: сохранить события жизни, приобщить их к вечности. Которую я вижу благодаря тебе, делю с тобой; вижу так же просто, как дождь за окном. Смысл вечности – в радости; радости, которая переполняет, потому что иначе простая идея – о бесконечности пространства – может свести с ума; но божественная радость устроит так, что не будет не только предполагаемого ужаса о чем-то превосходящем понимание; будет, наоборот, все-все очень отчетливо и полно; око того не видело и ухо не слышало, что приготовил бог любящим его; но что же он приготовил? – Если разобраться, Богу от меня лично нужно то же, что мне от тебя. Богу нужно общение со мной, но Он не может навязать его мне. «Се, стою у двери и стучу». Очень много раз я... нет, я не отталкивал Бога, я просто не обращал на Него внимания, ну, не нужен он мне. Ты можешь один раз написать о прекрасном чувстве, я тоже могу один раз проникнуться божественным светом и обо всем этом забыть. Но что же мы будем делать в вечности с Богом? чем заниматься? Иного выхода, чем радость, я не вижу. И аналогом этой радости является для меня день в монастыре с то-

бой. Радость переполняла меня. Все было лишено какой-то сверхъестественной мистики, все было очень знакомо – какие-то хозяйственные работы, знакомое окружение, церковная среда... Но мне стоило некоторых усилий сдерживать свой восторг; причина – постоянное твое присутствие, твоя физическая досягаемость. Но что испытывала ты от моей радости?! Только утомление и недовольство от того, что не можешь ответить тем же, не можешь разделить ее?! Я не думаю... В тебе есть эта сдержанность, эта чудесная дисциплинированность духа, когда человек не бросается в какую-то крайность, а остается «в сознании», он способен все воспринимать спокойно; и ты, не чувствуя, может, того, что чувствовал я, относясь по-другому и к поездке, и к происходящему, ты, тем не менее, была максимально внимательна, ты не упустила ничего из того, что могло бы предназначаться тебе; в это «нелегкое» время, во время, когда очень многие «расслаблены» интернетом (не хочу говорить – «развращены») и, как следствие, очень неотзывчивы, закрыты, «виртуальны», замкнуты – из-за этого как бы и не чувствуешь себя «человеком», общаясь с другими людьми; увидеть такую чуткость с чьей-то стороны – с твоей – это большая награда, большое откровение уму, который пока не перестал еще что-то искать.

Глава XIV

Сегодня на работе в начале четвертого раздался звонок. Зазвенел мой телефон. Цифры – незнакомые, по-моему, три, пять, девять в конце; да, три – пять —девять (я проверил телефон). Думая, что, может, это звонят с наконец-то открывающихся курсов экскурсоводов, я «снял трубку» – проведя пальцем по поверхности. «Алло», и небольшая, совсем незначительная пауза. «Это Николай». Сразу – представился. И сразу, как бы нехотя, я понял, кто это. Почему – нехотят?! Я бы предпочел, чтобы звонили с курсов. Другая сторона этого «нехотят» – то, что меня как бы застигли врасплох. Я плохо помню разговор, но в то же время помню его отлично. «Это Николай, Машин...» – как же он сказал? «парень»... но я уже подхватил эту фразу: «Да-да, я знаю, с кем я говорю...» Дальше было что-то о чувстве. «Я почитал ваши записи в контакте...» Ага, в контакте... Я быстро представил себе, какие записи; вернее, сколько там, на... Машиной странице (паузу я сделал, потому что хотел написать – «на твоей»), и в качестве комментариев к фотографиям; сколько на моей. Вопрос свелся к следующему: действительно ли чувство настолько сильно, насколько это явствует из написанных текстов? И тут я почувствовал легкий холодок... Ведь мы представляем собой последовательность различных состояний. В этот момент я почувствовал нечто

вроде «заплати по счетам»; я почувствовал ответственность за то, что мне приписывается и – желание уйти от ответственности. Сказать, что «ничего не было». Чтоб не впутываться в дальнейшую «историю». Наверное, это какая-то генетическая память, причем очень может быть, что и советская, социальная память – страх перед «разоблачением», перед «прилюдным осмеянием», «выведением на чистую воду» – все это пронеслось очень быстро; как уже сказано, я был застигнут врасплох; но голос был не «мстительный», не «угрожающий» – скорее, в какой-то степени любопытствующий – и, как потом я определил эту интонацию – довольно педантичный. В этом голосе не было, насколько я могу судить, особого волнения – было «законное» право человека, считающего «своим долгом», что ли, позвонить и узнать, какого черта на странице его девушки... нет-нет, конечно, это все моя проекция; и в ответ на какой-то вопрос об этих записях он сказал что-то вроде: да нет, пишите; я не против... или: не вижу в этом ничего плохого... Возвращаясь к вопросу – действительно ли так велико чувство, как это видно из написанного? – Я сказал: ну вот, вы сами определили степень, размерность. Если из написанного видно, что велико – значит, так оно и есть. Где-то посреди разговора был вопрос в лоб – (или мне так хочется, чтобы он повторился, этот вопрос): – Как же все-таки велико чувство-то?! – И тут я сказал, что – да! велико... до хорошей такой верхней планки, очень сильно, и – «я не стал бы говорить традицион-

ными словами о любви, влюбленности, я просто сталкиваюсь со своим опытом и пытаюсь выбраться из него, а то, что делаю, пишу – это своего рода терапия». – А когда вы последний раз общались с М. и общаетесь ли теперь? – спросил он. « – Ага!» – подумал я. А вслух – я рассказал, что М. написала мне сообщение – большое, крупное и содержательное – после которого я («как честный человек» – это уже самоирония пошла) не считал себя вправе каким-то образом дальше проявлять внимание. Она написала, что уже год встречается с человеком, которого любит. (Возвращаясь опять к диалогу – потом я подумал, откуда телефон мой? А, ну да, в контакте... оба моих телефона. Это к вопросу о чувстве долга и сознании правоты: три было звонка на один номер, и один звонок – на другой; в течение трех минут. Это похоже на то, как если бы довольно-таки настойчиво звонить в дверь.) Похоже, это и было то, что его интересовало – существование, или наоборот – неких «отношений». Разговор на этом закончился: до свидания – до свидания; в конце разговора я успел изъявить желание встретиться – то есть, просто предложить прийти ему, или вместе с М. – в Ливадию – пообщаться; сделал я это еще и потому, – и в основном, – что и представлял себе такой вариант; и мне в каком-то смысле хотелось именно познакомиться, «литератор» во мне как бы говорил – тебе надо узнать того, кто ей нравится; в общем-то, по голосу я и узнал. (Но по правде – хотелось увидеть по той же причине, по какой мне приятно и трепетно видеть, например, С.В.

в церкви; причина проста – «отраженный свет». Тот, кто общался с тобой недавно, кто может себе позволить такую милость, несет на себе и в себе свет от тебя). Прошло какое-то время после разговора... еще – я не мог позволить себе говорить «привычно», находясь среди других людей. Прошло время – я хотел позвонить в ответ. Потом оставил это на вечер. Этим своим звонком Н., с моей точки зрения – поведенческой, нестабильной – выговорил себе преимущество; хотя, может, ни к чему такому не стремился. Он просто позвонил узнать, «насколько велико чувство» и – «в каких отношениях...»; и – не волновался; я же, когда вечером вышел «на волю» из огромного восемнадцатипэтажного здания, напоминающего гигантские шахматные часы для блицтурниров – и позвонил – я волновался. Но на этот раз я имел «преимущество инициативы». – А кто это? – Илья. Я очень рад, что вы позвонили (днем); я вообще имел намерение познакомиться... Если это не покажется странным, обременительным, если вас это не затруднит, не могли бы вы... передать Маше привет, я мог бы написать сообщение... но это – не то... а в контакт она не выходит...» Когда я представлял себе (перед произнесением) этот (второй) диалог, я – как сейчас понимаю – говорил с самим собой. Я сам себя подхватывал и поддерживал. В реальности же показалось, что слова мои «у́хают» куда-то в пышную поверхность ковра; как будто я говорю в пустоте... Но потом последовало согласие: да, передам... и я еще раз предложил встретиться; даже на-

звал какое-то время, но – «не навязываюсь, в общем, решение за вами». После этого звонка мне стало легко снова; снова эйфория, к которой – я уже знаю – надо относиться с подозрением. Легко мне стало еще днём – спустя час или два после звонка Н.; и еще потому хорошо – и здесь я никак не лукавлю – по той же причине, по которой мне приятно и волнительно видеть в церкви С.В., твою тетю. Мне приятно ее видеть, потому что она – живая и осязаемая связь с тобой («отраженный свет»; я редактировал этот текст и вставил про отраженный свет чуть раньше; а сейчас наткнулся неожиданно на почти то же самое, но написанное вчера); вот, она стоит – а день или два назад она разговаривала с тобой; а теперь отблеск того света озаряет меня... Правда, я так это вижу... И Н., он сегодня разговаривал с тобой – и еще будет, наверное, говорить; и мне несколько не обременительно будет, скажем, познакомиться с ним очно, потому что я буду думать о нем как о звене этой невидимой хрустальной гирлянды, дотронувшись до которой словом и взглядом, можно различить ее колебания, оканчивающиеся рядом с твоей планетой – украшением наряженного к празднику радости древа жизни.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.